

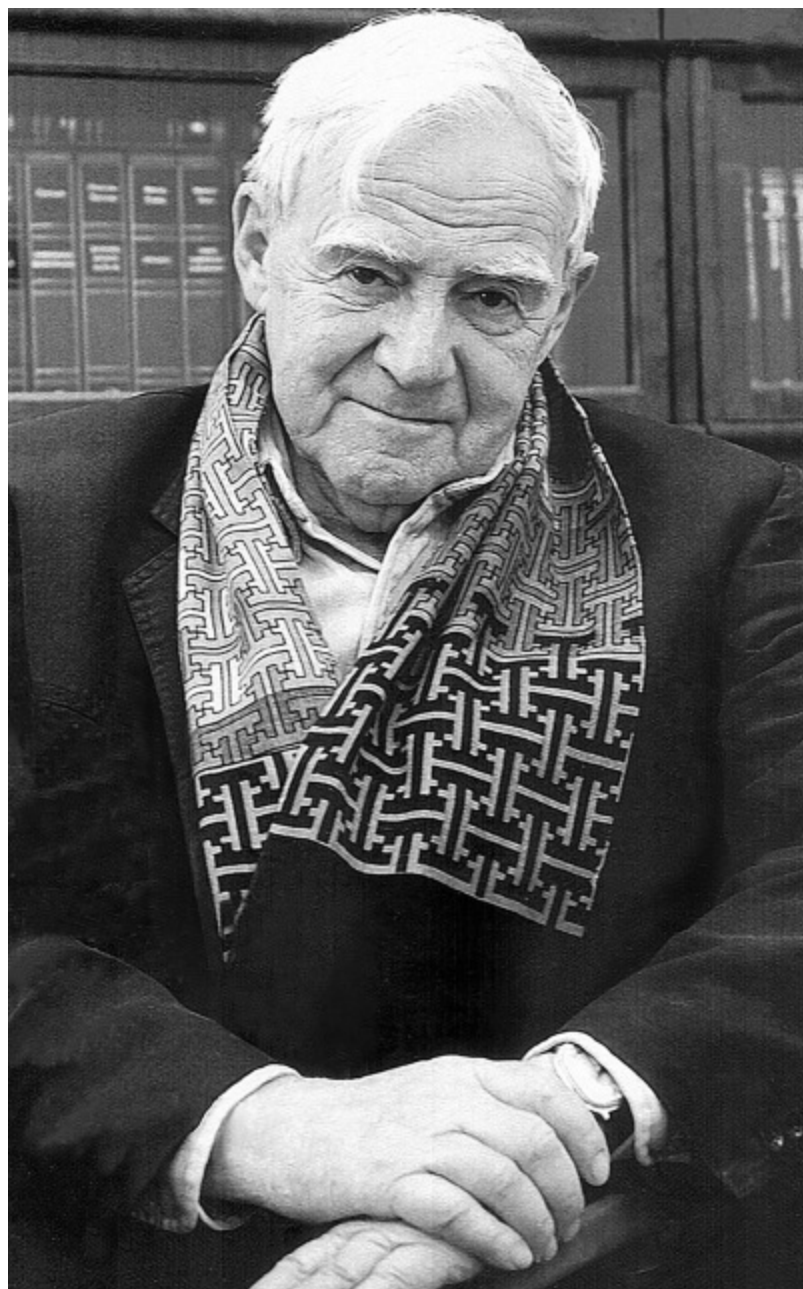
Д А Н И И Л

ГРАНИН

Она
И ВСЁ
ОСТАЛЬНОЕ

РОМАН О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО





Даниил Гранин

**Она и всё остальное. Роман о
любви и не только**

Она и всё остальное

Она И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ



Переговоры шли с трудом. Фирма «Сименс» имела опытных переговорщиков, они ловко доказывали разумность расценок,

обосновывали сроки поставок. У Антона было лишь бычье упорство и симпатичная наивность новичка, если не считать хороший немецкий язык, из-за которого его и отправили в Берлин.

В конце тягостного заседания, третьего по счёту, Антона неожиданно-негаданно пригласили в воскресенье на торжественный обед. Повод – какой-то юбилей фирмы, обед будет не в ресторане, а в особняке одного из владельцев филиала. Это было любопытно, поскольку на банкете будет присутствовать особа из семейства Ротшильдов и основатель филиала фирмы.

Подходящего костюма Антон не имел, подумав, нацепил большой значок Фарадеевского конгресса, там, в Англии, он участвовал в дискуссии «Электричество и прогресс». Выступил с успехом, и ему нацепили эту блямбу на ярко-синей подвеске.

Большой обеденный зал был украшен овальными портретами основателей знаменитой немецкой фирмы, появилась она в XIX веке и доросла до империи энергетики, несколько имён ему были знакомы – изобретатели, финансисты, все усатые, стоячие воротнички, уверенные схожие физиономии.

Нынешний народ был другим. Мужчины элегантные, высокие, чем-то напоминающие скаковых лошадей. Чёрные костюмы, бабочки, волосы, собранные в хвост. Нарядные благоухающие дамы, ослепительные улыбки, длинные платья... Все толпились возле маленькой толстенькой старушки, седые её волосы были взбиты в пену. «Как на пивной кружке», – подумал Антон. Это была мадам Ротшильд. Его подвели к ней. Холодными коротенькими пальцами она коснулась его руки. На лице появилась обязательная улыбка, несколько милых фраз, порция небольшого интереса лично к нему и его значку, а затем, в качестве подарка, приглашение посетить завтра открытие выставки. Презентация винных этикеток, создание лучших европейских художников. Это её коллекция.

Удостоен... Ротшильды! Это вам не жук на палочке.

За столом он оказался между двух дам, справа – хорошенькая блондинка с роскошным бюстом. Слева – постарше – брюнетка, тяжёлая копна тёмных волос затеняла её лицо, он видел только её руки, не по-женски крупные, без маникюра. Почему-то всегда он обращал внимание на руки, они говорили ему больше лица, больше костюма и голоса, те всегда старались что-то изобразить.

Эмилия, так звали блондинку, стала выяснять, что у него был за разговор с госпожой Ротшильд. Ого, его пригласили – она сразу повернулась к нему всем корпусом – что у него за значок? Как ему здесь нравится? Ответы её мало интересовали, она продолжала сыпать вопросами дальше. Какие вина он любит? Если он хочет, она ему расскажет о тех, кто сидит напротив за столом. Антон вскоре устал от неё и обратился к соседке слева, спросил, не знает ли она, что значит выставка винных этикеток, выпить там можно? Попробовать дают? Соседка рассмеялась:

– Не надейтесь, там могут подарить лучшую этикетку, а чтобы поддаться, вряд ли. – «Поддаться» она произнесла по-русски, с легким акцентом.

– Откуда у вас такое произношение?

– Из школы.

– Разве там учат «поддавать»?

– Нет, это уже ваша великая литература.

Разговорились. Её звали Магда. Взглянул на карточку: «Магда Вернер».

Вдруг его осенило.

– Это вас специально подсадили ко мне?

– Конечно. Развлекать.

Антон насторожился, но улыбнулся:

– С заданием?

Она чуть хмыкнула и не ответила.

– Вы от фирмы? – настаивал он.

– Отчасти.

– Я-то думал, что вы для украшения стола, а вы, значит, по службе, напоить и вывести.

– Пока что вы выводите. – Она откинула волосы и оказалась куда моложе, чем он думал. Положила спаржу ему и себе.

Официант налил ей вино, Антон попросил коньяк. Магда поинтересовалась: доволен ли он переговорами, есть ли у него пожелания? Пока что ему приходится трудно, признался он, не хватает опыта. Она спросила, пойдёт ли он завтра на презентацию, он пожал плечами:

– Зачем?

– А зря, вам полезно повращаться.

– Среди этикеток?

– На таких сборищах все становятся этикетками.

После обеда всех пригласили спуститься в сад, там угощали кофе, мороженым.

Палые листья шуршали у них под ногами. Стоял запах осени, ещё беспечальный, ещё хватало зелени на кустах.

К ним подошёл хозяин дома, член дирекции филиала, похвалил Антона за его выступление на Фарадеевском конгрессе.

– Ого, вы знаменитость, – сказала Магда, спросила, что он там наговорил на конгрессе.

Господи, зачем ей эта скукота, может, нам лучше пофлиртовать? Она предложила пофлиртовать, если он свободен.

– А чего время терять, вы же не ухаживаете.

– Попробую.

Так они «фехтовали». Ему удавалось уклоняться вежливо, терпеливо, кажется, она это оценила. Кратко сообщала ему, кто есть кто за этим столом. Женщины, жёны, дочери...

В саду хозяева любезно пообщались с Антоном и оставили его наедине с Магдой. Она предложила поехать в город на выставку. Выставка архитектурных проектов

Альберта Шпеера. Это сенсация. Друг Гитлера, министр вооружения гитлеровской Германии, он теперь показан как талантливейший архитектор Третьего рейха, создатель проекта «Столица мира». Жалко, если Антон упустит такую возможность. Он согласился. О Шпеере он когда-то слышал. Подсудимый Нюрнбергского процесса. Его почему-то не повесили вместе с главными гитлеровскими заправками. История Второй мировой войны в своё время привлекла Антона личностями её полководцев – Черчилля, де Голля, Эйзенхауэра, Жукова. Он даже читал отрывки их воспоминаний и этого Шпеера, где он описывал Гитлера.

По дороге Магда упоённо рассказывала ему про достижения Шпеера. В молодости Гитлер мечтал стать архитектором. Не получилось. Молодой Шпеер, талантливый архитектор, полюбился ему. Таким фюрер мог быть сам, если бы... Но Магду занимал сам Шпеер. Как он осуществлял себя. Создатель новой столицы Германии, да что там Германии – Империи, задуманной фюрером.

Она пишет очерк о Шпеере. Не только о его проектах, главное – о человеке, который пошёл на сделку с дьяволом. Вынудил к этому его талант. Талант, призвание – они беспощадны. Они не считаются ни с честью, ни с совестью, ради них Шпеер продал свою душу.

«Всё же у каждого человека, – думал Антон, – есть кроме обязательного ещё и заповедное».

На выставке было полно и знатоков, и просто любопытных. Недавно вышли мемуары Шпеера, они сразу стали бестселлером. Шпеер в тюрьме тайком вёл свой дневник, вёл все двадцать лет. Рассказывал прежде всего про Гитлера как своего покровителя. Не скрывал восхищения, ужасался этому и продолжал свои свидетельства об исключительности этого человека.

Выставленные гипсовые макеты составляли целый город, квартал за кварталом. Антон двигался за Магдой сквозь этот призрачнобелый памятник. Эскизы и модели обретали каменную плоть, вырастали, подавляя грандиозный мегаполис. Они подавляли Антона, в них была жёсткость геометрии, торжество размеров над ничтожностью человека.

Это был замысел гитлеровского безумия. Магда видела другое – величественные ансамбли, безупречные пропорции, свидетельство мощи Третьего рейха.

Шпеер недаром продал себя, считала Магда. От всей эпохи нацизма в истории, наверное, уцелеют Гитлер и Шпеер.

– Гитлер – это точно, – соглашался Антон.

– Почему вы так считаете?

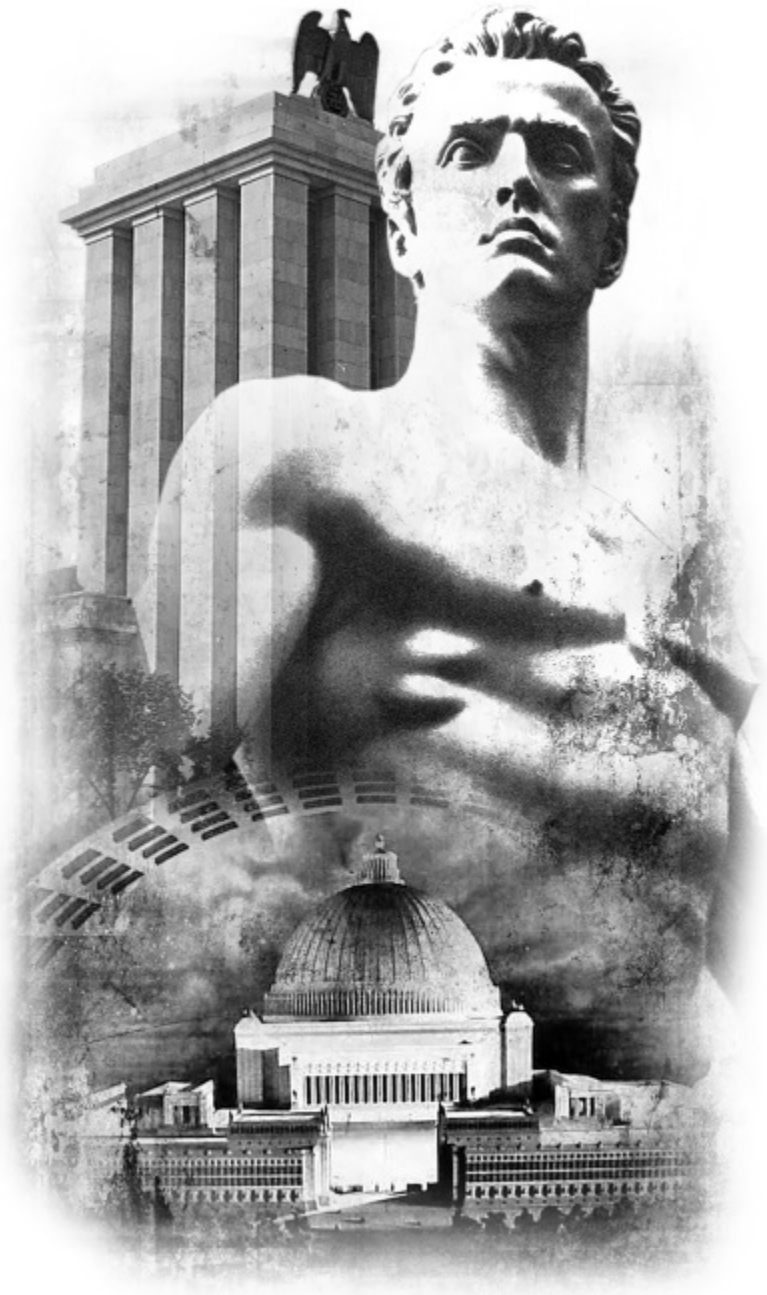
– Люди такого масштаба хорошо сохраняются в истории. Нерон, Савонарола, Герострат, Сталин, Малюта Скуратов – память о них куда прочнее, чем о тех, кто облагодетельствовал человечество, как Пастер или Фарадей.

Магда познакомила Антона с одним из организаторов выставки: «Господин Краузе, наш замечательный историк». Седой высокий старик настороженно спросил, как гостю нравится выставка. Антон сказал, что она весьма интересна. Во всех затруднительных случаях он пользовался этой фразой. Господин Краузе обрадовался. Он, вернее, они хотели показать, что во времена нацизма были художники достаточно самостоятельные, и нельзя замалчивать их творчество.

– Господин Краузе был лично знаком со Шпеером, – пояснила Магда.

– Да, мне повезло.

Грандиозность проекта «Столица мира» не восхищала Антона, он никак не мог представить себя стоящим перед этими гранитными громадами, они казались ему бесчеловечными. Краузе твердил, что эти проекты должны были превзойти всё, что до сих пор сооружало человечество. Начиная от египетских пирамид и библейского Иерихона вплоть до американских небоскрёбов. Война не остановила строительство. Шпеер успел реализовать кое-какие свои замыслы, этот город был мечтой фюрера. Вот и портрет Шпеера рядом с Гитлером, а вот они втроём на прогулке: Гитлер, Геринг и Шпеер. Тут фюрер и он – оба склонились над листами эскизов – трогательная пара.



Краузе рассказал, как Гитлер когда-то пытался стать архитектором.
– Все они вначале хотят быть другими, – напоминала Магда. –
Геббельс – несостоявшийся писатель, Черчилль – несостоявшийся
художник, Сталин – несостоявшийся поэт, Гиммлер увлекался
агрономией.

Магда, перечисляя одного за другим правителей XX века, заключила: «У каждого из них в глубине души томилось несостоявшееся. Как ни странно, всех их можно считать неудачниками, хотя они не допускали мысли об этом».

– Несчастливая любовь фюрера, – продолжал Краузе, – наверное, единственное человеческое, что оставалось в нём.

У Антона было правило – не прерывать собеседника, дать ему выговориться. Краузе говорил увлечённо, пытаясь убедить Антона в своей правоте.

– Да, Гитлер был никаким архитектором, зато он вызвал из небытия талант Шпеера. Вы согласны?

Антон наморщил лоб, смягчая свой ответ:

– Я бы не хотел жить в таком городе. Слава богу, что «Столица мира» не состоялась.

– А мне жаль! – воскликнул Краузе. – Боюсь, что вы перечёркиваете всё, что связано с Гитлером. По-вашему, он не был способен ни на что хорошее. Но архитектура существует вне политики.

– Гитлер – это не политика, это несчастье Германии.

Краузе задумчиво посмотрел на него:

– По-вашему, Мефистофель не может делать добро?

Ответил Антон не сразу, это был хороший вопрос.

– Вы знаете, если положительное число умножить всего лишь на минус единицу, то число станет отрицательным, любое число. Мефистофель – это минус единица.

Когда они выбрались на улицу, уже стемнело. Фонари ещё не зажигались. Светила реклама, витрины. Они свернули с бульвара в кварталы Старого города. Нормальные дома прежних веков. Маленькие кафе. Террасы. Цветы на балконах. Уютные лавочки. Магда выбрала ирландский бар, где её знала хозяйка. Сели за столик у камина, украшенного бронзовыми грифонами.

Уселись друг против друга, и Магда стала его допрашивать о выставке. Её влекла загадка Шпеера. Для неё он был самым любопытным объектом среди гитлеровских заправил. Талантливый архитектор, потомственный интеллигент, образованный, то, что он купился на заказ колоссального размаха, – понятно, но дальше... В течение двадцати лет тюрьмы не осознать, кому он служил, перед кем

преклонялся. Вспоминал, вспоминал – и так и не признал свой грех. Вроде каялся, но не раскаялся. Она по памяти цитировала его дневники. Писал он для себя. Сокровенные размышления, наблюдения год за годом...

Одиннадцать месяцев шёл Нюрнбергский процесс. Перед Шпеером сложилась всемирная картина преступлений гитлеровских заправил. Во всех подробностях. Каждого из соумышленников Гитлера, в том числе и Шпеера. Шпеер был единственным, кто в заключительном слове не уклонился, взял на себя ответственность за то, что творила власть нацистов. Было ли это раскаянием? Магда не могла понять. Другие преступники не признали своей вины, а он признал. Но ни в его дневниках, ни в книге воспоминаний раскаяние не продолжилось. Куда оно делось?

Возможно, это было сделано по совету защитника, ради спасения от виселицы, предположил Антон.

Постепенно его заинтересовал этот Шпеер. Вернее, не столько он, сколько вопросы, которые так мучили Магду. С чего это так её волнует? Только ли как автора будущей книги? Природа злодейства? Зависть? Тщеславие?

Он перебил свои размышления, вдруг вспомнив, как его мать страдала от того, что не стала певицей. У неё был хороший голос, если бы поставить его, ради этого, говорила она, пошла бы на всё. Сделала бы аборт, он, Антон, не появился бы...

Мы не знаем, за счёт чего мы получаем жизнь. Большей частью не бесплатно...

Он не сразу заметил, как Магда перешла на «ты». Это выглядело естественно, так было легче общаться. Или довериться. Грубоватые черты её смягчились, она помолодела, шмыгала носом, по-детски утираясь рукой.

Она уговорила его прочитать хотя бы выписки из книг Шпеера. Делала она их для своей работы, печатала на машинке.

В тот вечер позвала его к себе домой, вытащила большую папку, взяла с него слово, что он хотя бы малость, но прочитает. Назавтра позвонила, сказала, что договорилась с советским офицером охраны – им разрешат посетить тюрьму Шпандау, где когда-то сидел Шпеер. Единственный узник, который там остался, это Гесс – легендарная

личность, самая таинственная фигура в истории Второй мировой войны.

В Шпандау их провели на верхний этаж, откуда был виден тюремный дворик. Советский офицер сказал, что свидания с Гессом запрещены. Гесс и сам не хотел никаких встреч, никому не давал интервью. Соблюдал тайну своего полёта в Англию в 1942 году в разгар войны. По дворику, заложив руки за спину, кружил ровным шагом сгорбленный старик в тюремной куртке. Антон долго стоял, пытаясь рассмотреть его, понять его странную судьбу. Это был первый и, наверное, последний настоящий фашист, которого он увидел. Живая история. Непонятная, наверное, такой и останется навсегда. Он, Гесс, заберёт тайну с собой. Зачем? Никто из них, из главарей нацистской Германии, не осмелился защищать свой режим, то, во имя чего они воевали. Они принимали яд, кончали с собой, даже у Гитлера не хватило мужества отстаивать свою идею. Он трусливо сбежал в небытие.

«Воспоминания» и «Шпандау: Тайный дневник» Шпеера – две книги, написанные, возможно, самым близким Гитлеру человеком. Шпеера приговорили к двадцати годам тюрьмы. Сидел в одиночной камере, мог общаться с другими гитлеровскими преступниками, заключёнными в Шпандау. Газет им не давали, они были лишены и радио, и телевидения. Охрана была международная – солдаты и офицеры союзных войск: англичане, американцы, французы и советские. Каким-то образом Шпеер исхитрился все эти годы вести подробный дневник. Вспоминал, как работал личным архитектором Гитлера. Как затем, в 1944 году, стал министром вооружения гитлеровской Германии. Память была у него отличная, помнил даты, фамилии, подробности своих разговоров с Гитлером и другими фашистскими вождями. Дружба с фюрером становилась всё более доверительной. Она не отражалась в документах, её нельзя было проверить, она убеждала лишь множеством подробностей, подтверждавших правдивость

Шпеера. Он не опускает и не смягчает своих дружеских чувств. В течение двадцати лет заключения Шпеер перебрал в памяти всё, что было, и ни разу не испытал ни возмущения, ни ужаса от того, что этот человек уничтожал миллионы своих солдат уже тогда, когда война шла к поражению, уничтожал десятки миллионов противников Третьего

рейха в концлагерях. Ничто не мешало его дружбе с Гитлером. Знал ведь, как Гитлер воплощал расовую теорию нацизма, с какой жестокостью, неумолимостью налаживал систему истребления ни в чём не повинных людей. Для Шпеера куда важнее было признание его таланта архитектора, его энергии министра и того, что вся фашистская кодла завидует его близости к вождю. Молодой, энергичный, он и в министерской должности достигает многого – обеспечивает армию новым оружием, фау-снарядами, со всем пылом старается спасти Германию от поражения. Подземные заводы работают день и ночь, огромную армию военнопленных используют в беспощадном режиме, изготавливают не только оружие, изготавливают газовые камеры для уничтожения врагов рейха. Программа очищения арийской расы выполняется неукоснительно.

Антон всё больше поражало в откровениях Шпеера отсутствие какого-либо раскаяния. Ни разу в его размышлениях, в его дневнике не появляется слово «Бог».

Дядей Магды был Герхард Штейнберг, известный атомщик. Антон спросил Магду, можно ли повидать его. Она ответила, что он тяжело болеет, как он сам определил: «замазался» в Сухуми. Антон стал упрашивать. Спустя два дня Герхард их принял. Он ходил на костылях, бледные губы его еле шевелились, похоже, он не удивился расспросам Антона, был рад, что кому-то понадобился. Их там, в Сухуми, было несколько сотен, а может и тысячи, немецких специалистов. Кроме атомщиков были ещё и ракетчики. Русские без стеснения их тоже использовали. Учёные расплачивались за поражение Германии. Выкладывали секреты. Охотно помогали русским в разработке нового оружия. Получали за это ордена. Подумать только, гитлеровские специалисты!.. «Знаешь, – сказал он Магде, – история человечества зависит не от вождей, она делается не в Кремле, не в Белом доме, на самом деле её изготавливают в лабораториях среди циклотронов и реторт. Любознательность одолевает идеологию».

Герхард рассказывал, полулёжа в кресле, прикрыв глаза. Он облучился, большую дозу схватил, смертельную.

На улице и позже вечером Антон иногда слышал его голос, бесцветный, доносившийся откуда-то издалека. Магда была уверена, что он принимал свою болезнь как Божью кару за работу над бомбой.

Справедлива ли такая кара, спрашивал себя Антон, рад ли Герхард как учёный, что всё же результат получен? Бомбу сделать им не удалось. В гитлеровской Германии не удалось – доделали её в России. Может быть, это удивляет его. Или удручает?

Странно получилось, сказала Магда, что этот Альберт Шпеер, любимец Гитлера, как бы сохранил немецких физиков для советской России.

Между прочим, американцы, вспомнил Антон, тоже захватили себе и Гейзенберга, и Лауэ, и прочих атомщиков. Вслух этого он не сказал. Сказал другое:

– И всё же мне кажется, что Гейзенберг и все вы не могли создавать... Гейзенберг – великий учёный, гений не может быть злодеем.

– Глупости, – сказал Штейнберг. – А почему же тогда и он, и все остальные стали охотно помогать американцам, уже в Штатах, доводить бомбу до ума? Американскую бомбу! И мы в Сухуми то же самое делали – помогали русским. У меня был разговор с академиком Зельдовичем. Этот хитрый еврей придумал себе оправдание: «Если мы сделаем бомбу одновременно с американцами, наступит паритет»... Но, может, это не его объяснение, скорее всего, это придумали советские дипломаты.

Ошибка немецких физиков, как всегда в подобных случаях, была настолько крупной и очевидной, что именно по этой причине не заметили её. Это потом они хватались за голову: её допустили при определении коэффициента поглощения нейтронов очищенным графитом. Это замедлило их работы примерно на два-три лишних года. Случайная ошибка? Выглядела она как Божий дар человечеству.

Антон выводила из себя его спокойная уверенность. Уверенность в чём? Скорей всего, в том, что иначе быть не могло, что появление атомного оружия было неизбежно (у тех, у других, у третьих – какая разница?), это был Рок. И ничья совесть, ничей гуманизм ничего не могли изменить. Он был твёрдо убеждён, что развитие физики неизбежно идёт по своим законам и личность мало что может. Он был неприятно самоуверен. Физики тогда считали себя вершителями судеб человечества.

За работу в Сухуми он был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас орден болтался у него на отвороте рыжей шерстяной

куртки, нацепил его, видно, демонстративно, он не просто немец «из бывших». На пятнадцатой минуте Антон решился и спросил: кто были люди, которые могли работать над созданием немецкой бомбы, не мучаясь совестью, зная, для кого и чего они создают это страшное оружие. Позиция советских физиков на этот счёт была Антону недоступна. Никто из них не стал бы вообще отвечать на его вопросы.

Антон спросил Штейнберга, умышленно ли немцы-физики тормозили работы над бомбой. Он ответил со смешком:

– Все хотят, чтобы это был умысел, чтобы наша ошибка выглядела не совсем ошибкой, что мы просто стали тянуть, а ведь мы на самом деле прошляпили.

Кряхтя, он поднялся с кресла и заходил по кабинету.

– Ничего не могло бы кончиться иначе, – уверенно сказал Антон. – История неумолима.

– Бездоказательно. Уверяю вас, если б не эта ошибка, мы бы обогнали Америку, и не осталось бы на карте ни Англии, ни России.

– Вы в это верили?

– Безусловно.

– Вас это не останавливало?

– Нисколько.

– Как же так?

– Я уже плохо представляю, что я тогда думал, вернее всего, я ни о чём таком не думал. Когда итальянскому физiku задали вопрос вроде вашего, он сказал: «Бомба была для меня интересной проблемой».

Антон молчал.

– Мы думали только о победе. Ведь ваши атомщики тоже думали об этом?

– Не знаю, – сказал Антон.

Однажды у него был разговор с Марком Корнфельдом. Марк в то время был уже на пенсии. Когда-то он работал у Курчатова. Числился одним из ведущих. Он разработал оригинальный метод разделения изотопов. Курчатов похвалил, но применять отказался. Взял другой метод. Почему – не стал объяснять. Вскоре Марк узнал – приказано было не рисковать, пользоваться американским методом. Марк обиделся и ушёл с объекта. Так вот, по его словам, никто из них тогда не думал: морально или аморально делать бомбу. Их охватил азарт гонок – «догнать и перегнать!».

Антон спросил, осуждал ли он Курчатова.

– Тогда – да, теперь – нет. Он избегал малейшего риска. Была изготовлена для испытаний на всякий случай ещё одна бомба.

Антону не хотелось выглядеть в этом разговоре учеником, которого вразумляют. Особенно перед Магдой, тем более что он считал себя в достаточной мере правым, они тогда видели советских атомщиков героями – они сумели, они противостояли американцам. А немецких физиков считали неудачниками, хотя их неудача была Божьей милостью. Это был его аргумент перед Штейнбергом, он ему так и сказал, что они должны были проиграть, ибо это было торжеством справедливости.

Штейнберг усмехнулся и угостил их каким-то грузинским вином из своих запасов. Он явно чувствовал себя победителем. На самом деле ему, конечно, было наплевать, кто побеждённый, кто победитель, он ткнул в орден Трудового Красного Знамени и засмеялся: «Гитлер меня ничем не наградил, а Сталин наградил, вот какой фокус-покус получился».

На обратном пути Антон спросил Магду:

– Тебе интересно было?

– Что ты, очень интересно. У каждого из вас своя правота, причём убедительная.

Антон сказал, что ему очень мешал сильный акцент Штейнберга. Как будто он, Антон, допрашивал пленного.

...Кроме того, он не хотел уступать ему Гейзенберга, верил, что Гейзенберг не собирался помогать нацистам, не хотел, не должен был хотеть передать им бомбу, честолюбие его было давно удовлетворено. Гейзенберг создал квантовую механику, и этого было достаточно, чтобы увековечить его имя. Но Гейзенберг – это вам не Шпеер, Шпееру нужно было признание, он во что бы то ни стало хотел воплотить свои градостроительные мечты, а Гейзенбергу нужно было понять, как устроен этот мир.

Шпеер, несомненно, был хорошим архитектором. Гейзенберг был великим физиком. Они оба по-разному служили нацистам. Крупных физиков, можно сказать, замечательных физиков-атомщиков было много: Лауэ, Вайцеккер, Ардене, Отто Ганн, Густав Герц и другие. Значительная их часть эмигрировала. Они покидали свои институты,

свои лаборатории, отказываясь от нацистской Германии. Но были и приверженцы гитлеровского режима. Среди них и лауреаты Нобелевской премии. У каждого из них своя история, своя победа, своё поражение.

Антону было жаль, что Шпеер обошёл в своих записках последнее своё свидание с Гитлером. Когда Советская армия уже подходила к Берлину, Шпеер покинул свои подземные заводы, до последнего он исполнял обязанности министра вооружений, покинул и примчался в Берлин попрощаться с фюрером. О чём они говорили? Отговаривал ли его от самоубийства? Склонял к бегству? Была у Гитлера такая возможность. Отчаянная, но была. Может, отдавал должное его мужеству, считал, что самоубийство – достойный конец этого великого человека. Шпеер не осуждает его самоубийства, не считает это бегством, крахом всех теорий о превосходстве немецкой, арийской расы. Не посмел фюрер остаться, явиться на суд народов, защищать свою идею. Не взойшёл на эшафот. Шпеер не восхищается этим поведением и не смеет осуждать. Он решил разделить участь соратников.

Шпеер в «тайном дневнике» всё время сообщает, что он не знал об убийствах евреев.

«Если бы я слушал [Гитлера] более внимательно, наблюдал более пристально, я бы, безусловно, понял, что он... оправдывал массовые убийства, совершённые по его приказам», «я действительно не знал об убийствах евреев».

Он едет в машине с Гитлером через триумфальные арки, увешанные антисемитскими лозунгами, никак не реагируя на них. Его вполне устраивали решения Гитлера об уничтожении миллионов евреев, и не только евреев. Ни отвращения, ни стыда, когда, сидя с Гитлером за обедами, слышит его фанатичные признания. «Ненависть к евреям была главным делом Гитлера, – пишет Шпеер. – Гитлер готов был поставить под угрозу свои планы завоевания мира ради своей мании к их истреблению».

Сидя в тюрьме, уже после Нюрнбергского процесса, Шпеер вспоминает «совместные поездки на автомобиле, пикники... его обаяние, заботу о семьях людей, его кажущаяся скромность». «Гитлера поддерживали идеализм, преданность таких людей, как я».

Это попытка объяснить, а не покаяние. Только теперь, на девятнадцатый год заточения в Шпандау, в 1965 году он обнаружил: «...с моих глаз упала пелена». И что же?

Он не осуждает себя, он лишь был очарован, а теперь он всего лишь прозрел и увидел, что у Гитлера были не только достоинства, но и недостатки. Себя, свою деятельность министром вооружения гитлеровской Германии он считает «организационными достижениями».

Понятно, почему Магду интересовала подробная психология. «Есть другой Гитлер», – пишет Шпеер, тот, которого он знал, а не тот, которого возненавидел мир и от отвращения к которому содрогались народы.

Бомбёжка погубила «шедевры» Шпеера-архитектора. Его создания превратились в развалины. От его мечтаний стать великим архитектором сохранились маленькие макеты.

Магда хочет дать таланту льготы Творца. Не судить по общим законам. Нельзя изображать Гитлера лишь злодеем, всё сложнее, была в нём и человечность, к примеру, она приводила дружбу со Шпеером, покровительство молодому таланту. Антона это возмущало, ничто не может оправдать нацизм, и тем более Гитлера, его вдохновителя.

– Пойми, миллионы людей придумывали ему наказание помучительнее, – говорил Антон. – Он ведь воплощал беспросветное зло, а ты ищешь ему какое-то снисхождение. Человечность? Он – создание адское.

Магда не прерывала его, не понимала его яростной ненависти.

– Как будто он твой личный враг. Прошло столько лет.

Антон хотел уступить ей и не мог. Он обрывал их споры шутками, поцелуями. Ему пришло в голову, что даже Достоевский не сумел оправдать Раскольникова. Так и не добился от него раскаяния. Почему нельзя убить старуху ростовщицу ради того, чтобы помочь людям? Ни Евангелие, ни любовь не помогают Родиону Раскольникову раскаяться, осудить своё преступление. Конец романа не убеждает Антона. Автор, считал он, навязывал своему герою нравственное поражение.

– А может, это и входило в замысел романа? – возражала Магда. Возражала нерешительно. Достоевский был для неё одним из кумиров русской литературы, выше Чехова, выше Толстого.

В этом они тоже расходились. Антону нравилась её самостоятельность, их споры. С ней не было скучно, её несогласие не огорчало, чаще всего оно кончалось поцелуями.

Магду живо интересовала личность Сталина. Его Антон никогда не видел, биографию его знал по книжке, которую Сталин сам сочинял либо правил. Жизнь вёл закрытую. Никто, даже его соратники, толком не знали про его родителей. Мать его жила в Грузии, но он никогда не навещал её. Известно было, что он читает литературные журналы, смотрит кинофильмы, любит папиросы такой-то марки и грузинские вина. Неизвестно, были ли у него друзья, любовницы, ходил ли он в гости. Магда сравнивала его с Гитлером. Антону не нравилось такое сравнение. Магда удивлялась, о Гитлере он знал больше, чем о Сталине. Впрочем, однажды он вспомнил старую историю, которую при нём отец рассказывал на каком-то застолье у них дома.

После войны, когда началось «Ленинградское дело», отец ушёл из института, где был ректором, уехал в Москву, стал у приятеля работать, ставить камин на дачах. Хотел затеряться. Как-то послали его в Серебряный Бор ставить камин на даче Льва Шейнина. Личность примечательная, известный тогда писатель, сценарист, драматург. Неплохой у него фильм «Встреча на Эльбе», повсюду шли его пьесы, сделанные на детективном материале. Дело в том, что кроме литературы он был следователем по особым делам. Следователем высшего ранга. Это он провёл процессы над Бухариным, над Каменевым, Зиновьевым. Ему доверяли эту работу органы, доверяли, самого сажали, освобождали, опять приручали. Его инструктировал сам Сталин по изготовлению наиболее сложных подсудимых. Процессы он готовил мастерски.

Камин был богато украшен, работа сложная, отца Шейнин поселил на даче, благо она пустовала. Была зима, отец готовил себе кашу, варил картошку, полагал, что он скрылся, исчез в тень Льва Шейнина.

После какой-то своей премьеры, уже поздно вечером, Шейнин приехал на дачу. Привёз вино, всякие деликатесы. Накрыли стол, принялись за ужин. Выпили. Закусили. Разговорились. Шейнин обычно про себя, про свои дела помалкивал, а тут разомлел, стал описывать отцу внутренности Рейхстага, его бункеры. Он там всё облазил. В войну отец, как и все солдаты, мечтал добраться до

Берлина, до финала войны, финалом они считали Рейхстаг. Что-то ему надо было в этих развалинах, что-то он искал.

Шейнин рассказывает, как его вызвали к Сталину. Вождь принял его любезно, расспросил, как чувствует, что делает, затем сказал, что есть слух, что на самом деле в Рейхсканцелярии обнаружили труп не Гитлера, а его двойника. Считается, что после покушения охрана подобрала Гитлеру двойника. Он, Сталин, предлагает Шейнину отправиться в Берлин и выяснить, действительно ли Гитлер и его жена покончили с собой, попытаться добыть вещественные доказательства, мог ли он на самолёте или подводной лодке бежать из Германии. Сталин уверен, что товарищ Шейнин сумеет выполнить это поручение и будет покончено с этими вредными слухами от недобитых фашистов. Товарищ Шейнин выполнил сталинское поручение и окончательно уничтожил фюрера. Свидетелей опросил, добыл кое-какие останки.

Наутро они опохмелялись, и Лев Шейнин сказал, что пока не стоит об этом рассказывать. Видимо, Сталин досадовал, что упустили Гитлера.

* * *

Антон раздумывал над возражениями. Пушкинская формула «Гений и злодейство несовместны» для него была непреложна. Пусть Шпеер не гений, но всё равно, какая могла быть дружба с такой личностью, как Гитлер.

Шпеер до конца оставался верен фюреру. Он не считался с мнением генералов, тех, что обвиняли Гитлера в бездарных приказах и называли его виновником поражения. Шпеер ничего этого не хотел знать. Магде нравилась его верность: «Как у наполеоновских солдат». Когда Гитлер решил покончить с собой, Шпеер посетил его, чтобы попрощаться, сделал это с печалью и уважением к его предсмертному подвигу. Он до конца считал фюрера героем.

Антон сказал:

– Мой отец всегда досадовал, что фюрер ускользнул от возмездия, покончил с собой – сбежал, не посмел выступить перед судом, перед народами... Слушай, Магда, а кто твой отец, он воевал?

Магда ответила не сразу:

– Да, воевал. Наверное, воевал.

– Кем воевал?

Она продолжала смотреть на него.

– Он был красноармеец.

– Это как, не понимаю.

– Очень просто, – сказала Магда, – он изнасиловал мою мать.

Антон взял чашку, допил кофе.

– Изнасиловал? То есть как?

– Ты не знаешь, как насилуют?

– Он был солдат?

– Лейтенант...

– И что дальше?

– Его собирались судить, но он сбежал в английскую зону.

– И с тех пор о нём...

– И с тех пор я числюсь бастардом. Понятно?

Антон долго смотрел в пустую чашку, где лежал чёрный осадок.

– Чего тут не понять.

– А мне было не понятно.

– Что не понятно?

– Не понятно – кто я, жертва или наоборот.

– По-моему, ты наоборот.

Она его не поддержала.

– Нет, ты поясни, кто я, как ты считаешь? Я началась как несчастье, как нежеланный ребёнок.

– Это кто тебе сказал?

– Мама.

– Но она же не сделала аборт?

– Она боялась, что у неё больше не будет детей.

– Ну и слава богу.

– Я никогда не знала, хорошо это или плохо, что я родилась.

– Теперь об этом рассуждать глупо. Ты родилась, и радуйся, и благодари мать. Магда, а ведь я ничего о тебе не знаю, ты замужем, есть дети?

– Тебе это обязательно?

– Вот ты про меня многое знаешь, тебя снабдили сведениями, верно?

– Разумеется. И адрес, и зарплата, и что бывшая жена с дочкой уехали несколько лет назад, живут в Мюнхене, так?

Интересно, она ни разу не упоминала про мужа, обычно это означает: или развелись, или она не замужем. Родителей она упоминала – мать, дедушку, а вот слово «отец» она вообще избегает произносить. Беззамужних Антон всегда чувствовал, а вот насчёт детей...

– Не мучайся, – догадалась она, – я уже два года как погасила семейный очаг.

– Почему?

Она хмыкнула:

– Не угадаешь.

– Он храпел?

– Хуже – стал петь. Это было невыносимо, ни слуха, ни голоса. Достаточно?

– И всё?

– Он ненавидел русских. Он жалел, что не был на войне.

Антон ждал. Тогда она сказала:

– Он требовал, чтобы я проклинала русских. «Ублюдки, приматы, – твердил он, – насильники».

– А ты? Ты ведь тоже не любила нас.

– Я спрашивала его, как же они могли разгромить нас, немцев, если они приматы?

– Вы из-за этого разошлись?

– Он меня избил. Тогда я ушла.

Густой поток машин делал улицу узкой, шумной. Шум моторов, наверное, помог Антону, он даже подумал: «Скажу под шумок»... Не наклоняясь к Магде, не поворачивая головы, он сказал: «Ты мне нравишься».

Давно он не говорил ничего подобного, не было надобности, такое признание ставило бы его в зависимость, у него обычно всё образовывалось и без этого. Отношения с девицами не требовали от них ответа, он прекрасно знал, когда уже достиг, и всё созрело. Наступал момент, когда она сама ждала, каждая «она» к какому-то моменту тоже «доходила».

Он держал Магду под руку, не глядя на неё, фраза эта вырвалась внезапно, услышав её, он удивился и обрадовался – слова прозвучали спокойно и уверенно.

Магда ему не ответила, продолжала шагать так же легко, размашисто, стук её каблучков перебивал уличный шум, тогда Антон повторил то же самое, чуть громче:

– Ты мне нравишься.

– Наверное, – произнесла она без всякого выражения.

Он остановился, развернул её к себе:

– И что же?

– А что ты хочешь знать?.. И зачем?.. Не надо. Нам сейчас направо.

Они шли в гости к её приятелям. По её словам, это была весьма интересная семья – два сына, муж с женой, все четверо работали в зоопарке. Они обожали своих подопечных и рассказывали о них всевозможные удивительные истории.

Антон ещё ни разу, ни в одной своей поездке в Германию, не был в частных домах, обычно встречался с нужными людьми где-то в кафе, в ресторанах.

Дом, где жили Штольцы, был обычным берлинским четырёхэтажным домом с маленьким палисадником. В подъезде висело объявление, Антон прочел:

«Уважаемые господа, мы хотим предупредить вас, что сегодня с восьми вечера и, возможно, до одиннадцати часов будет музыка, достаточно громкая, поскольку у нас будут гости. Приносим свои извинения».

И подпись – «Штольцы». И лестница, и коричневые дубовые двери, и коврики перед входом – всё было как в питерских ухоженных домах, и это было приятно Антону.

Магду встретили криками восторга, мальчики бросились обнимать её, вышел сам Иоганн Штольц, большой, мягкий, скорее даже пышный. Он потряс руку Антона, а Магду погладил по голове. Появилась Амалия, хозяйка, маленькая, худенькая, не выше своих мальчиков. И все они льнули к Магде, смотрели на неё счастливыми глазами. Антон уже привык, что Магду встречают с какой-то особой заботливой радостью. Стол был уже накрыт. Сели ужинать, выпили вина, настоящего, со слов Иоганна – «настоящий португальский портвейн». Вынесли фарфоровую миску со спаржей и мясо, Антон не понял – то ли птица, то ли баранина. Он гадал, дадут ли потом чай, чая не было, было мороженое. Квартира была обычной – невысокие

потолки, простая мебель, книг мало, зато звуковые колонки, проигрыватели, кассеты – всякое музыкальное имущество.

Рассказывали про новости в зоопарке. Иоганн предупредил, что зоопарк – это не зверинец, в их зоопарке у зверей максимальная свобода, просторные вольеры. Напрасно бытует предубеждение: мол, в зоопарке звери находятся в неволе и страдают от этого. Ничего подобного, на природе вы не можете наблюдать и любоваться животным – как оно себя ведёт, как отдыхает, как играют они друг с другом. А в зоопарке у них много своих преимуществ: розовые фламинго гуляют по всей территории свободно, вовсю резвятся обезьяны разных пород.

Иоганн был особенно привязан к волкам, с ними, оказывается, можно было подружиться.

На шкафу и на буфете были расставлены чучела енотов, кротов, бобров.

Зоопарк даёт возможность видеть зверей рядом, любоваться их повадками, грацией. Можно наблюдать, как они играют, едят. Детей не оторвать от этих зрелищ. Зоосад сближает нас с животным миром, недоступным на свободе...

Штольц был убеждён, что зоопарки возвращают нам природу, это гуманные учреждения, необходимые и добрые, в них ведь, в сущности, не только ухаживают за животными, но и сохраняют редкие их виды.

За обедом Амалия приглядывалась к Антону, следила за ним и за Магдой, пытаясь угадать, что у них за отношения. Беспокоилась, очевидно, за Магду, время от времени Антон встречал взгляд её ярко-чёрных глаз, она испытующе прослеживала, как он подавал Магде соус, как она касалась его руки. Потом как будто убедилась в том, что Магда ему нравится. И успокоилась.

Неужели это так заметно, спросил себя Антон, нет, это, наверное, чисто женское чутьё. Почему-то он боялся обнаружить своё чувство. Или, может быть, ещё сам не уверился в нём. Хозяин Иоганн – человек, судя по всему, добряк. Бывают такие счастливые люди, у которых сразу заметна их доброта. Он рассказывал про то, как семейство волков узнаёт его, и волки, и волчата, чем они отличаются от собак, какая у них семейная жизнь. У них, например, есть дядя, холостяк, который сварлив, неуживчив, дядя этот доставляет семье много хлопот, но почему-то они терпеливо возятся с ним. Родители-

волки помогали Иоганну лечить волчат. Звери часто привечали его как ветеринара. А у мальчиков любимцами были бобры, они помогали бобрам строить плотину, в парке были созданы условия для того, чтобы бобры могли заниматься своей работой.

После обеда перешли в гостиную, там устроили концерт. Семья составила квартет: Амалия села за фортепиано, мальчики взяли скрипки, Иоганн играл на виолончели, за младшего Иоганн извинился, он играл на альте и у него ещё не очень получалось.

Играли Моцарта, его ранние вещи, Моцарт для Антона был сродни Пушкину, оба были примерами абсолютных гениев. Что есть абсолютный гений? Антон считал, что у Пушкина всё совершенно – всё, что он писал, даже письма его были совершенны и по форме, и по краткости. У Моцарта то же самое, недаром он писал свои сочинения набело, у него почти не было черновиков. Музыковеды и литературоведы были убеждены, что им обоим диктовали свыше и стихи, и музыку, других объяснений они не признавали.

Эти двое и для Антона были божественным явлением, запредельным, неподвластным законам науки. Ему хотелось, чтобы в этой жизни всё-таки оставалось место чуду, хотелось видеть весь мир, всю природу, её устройство, её красоту, её мудрость не как работу эволюции. Сколько бы человек ни старался, ничего подобного божьей коровке он не мог создать. За пятнадцать лет работы электроаппаратура становилась всё совершеннее, имела дело уже с огромными напряжениями, и всё равно ей было далеко до природных явлений. Ни в каких лабораториях невозможно было получить молнию длиной в несколько километров. И та же музыка, которую он сейчас слушал, этот Моцарт в корявом исполнении, где скрипки, и особенно альт, ковыляли, по-детски спотыкаясь, музыка всё равно была божественной. Этот домашний концерт открыл ему иные радости домашней жизни. За весь вечер никаких разговоров о политике, об экономике, о ценах, о правительственных событиях – здесь существовал мир отдельный, достаточный, не имеющий отношения к миру газет, телевидения и всего того, что обычно волновало окружение Антона.

Амалия благодарила его за посещение, он чувствовал, что она по-настоящему рада, что он побывал у них, и понимала, что её дом

понравился. Она на прощание как-то по-особенному, радостно, поцеловала Магду.

– Хорошо живут, – вырвалось у него.

– Кто вам мешает жить так же? – сказала Магда.

Конечно, никто, если не считать последствий войны, последствий культа и прочих последствий.

У входа в ресторан сидела девушка с аккордеоном, она пела русский романс «Я ехала домой, я думала про вас». Пела хорошо, шум улицы заглушал её слабый голос. Они постояли, дослушали до конца, Антон положил деньги в кепку.

– Эмигрантка, – сказал Антон.

Магда вернулась к разговору. У немцев всё это было – и эмиграция, и культ, и даже руины. Антон согласился: да, было. Да, они избавились. Изживают нацизм, изжили культ. Восстановили города. Всё так. Их отрезвило поражение. Они поняли, что расизм не дал Германии никакого превосходства. А ещё им помог очистить мозги Нюрнбергский процесс. Четыреста заседаний суда открыли перед миром немыслимые масштабы изуверства.

А Россия, победительница, сама должна была выкарабкиваться из своих заблуждений. И она это делает.

– Расскажи о себе, – попросила Магда, – я ведь ничего о тебе не знаю, расскажи о своей семье.

Ему казалось, что он уже рассказывал о том, что он освоился с преимуществами холостой жизни – летом, в отпуске, путешествует, у него есть компания друзей, школьных и институтских, жизнь проходит и быстро, и вроде без всяких событий, ничего существенного... Прошло уже четыре, нет, кажется, пять лет со дня отъезда жены, и он перестал вспоминать о ней.

– Послушай, Антон, а ты когда-нибудь писал или делал отчёт о проделанной жизни?

Его позабавил этот внезапный словесный оборот.

– Отчёт кому?

– Ну, не знаю, может быть, Всевышнему.

– Зачем Ему мой отчёт?

Она вдруг посерьёзнела:

– Потому что ты Его тварь, мы все Его создания – Божьи твари.

– Это ты серьёзно?

– Да, серьёзно. Ну хорошо, тогда я тебе скажу. У нас есть родственник, болгарин, он известный эмбриолог.

И она изложила его наблюдение. Нечто подобное он уже слышал от своей матери, врача. Эмбриолог много лет изучал, как созревает плод, и убедился, что существует момент, когда плод из комка плоти, или плазмы, переходит в иное состояние, становится человеком. Это именно момент, в этот момент в нём появляется душа, она далее созревает, зародыш в материнском чреве уже воспринимает всё, что происходит с матерью. Он уже человек. Но что есть момент одушевления зародыша, откуда является душа – оставалось тайной. Его учитель напомнил ему библейскую притчу о том, как Бог слепил из глины Адама и этот глиняный слепок одушевил. Вдохнул душу, именно вдохнул, это был момент появления человека. Человек появляется одномоментно. Для эмбриолога это было доказательством божественного происхождения человека.

– И для меня тоже, – сказала Магда.

Она произнесла это твёрдо:

– Иногда я ощущаю этот акт своего появления. Может быть, действительно каждый из нас появляется не случайно.

Это был интересный разговор, приоткрылся её внутренний мир. Другой мир, божественный, с чудесами, верой.

Немецкие физики не обнаружили свою ошибку. Они неправильно определили коэффициент поглощения того-то и того-то.

Это что – случайность или Божий дар? Ужас охватывал Антона, когда он представлял другой поворот истории.

Магду это мало занимало. Для него Судьба была чем-то сакральным, он верил, что счастливая судьба России – не случайность.

– Твой Шпеер, извини, отпетая сволочь.

– Это не он, – сказала Магда. – Это был всеобщий дурман.

– Если всеобщий, то зря его посадили и зря его дружков повесили.

– Неужели мы навсегда прокляты?

– Нет, я хочу тебе рассказать кое-что из другой жизни другого немца.

В холле гостиницы он повёл её в бар. Сели за столик, он заказал им виски.

– Хочу рассказать про Фукса, я встречался с Клаусом Фуксом.

– Кто это? – спросила Магда.

Антон поразился, как причудлива мирская слава. Забыт человек, который спасал Россию, и не только её.

Ещё в ГДР после долгих хлопот Антону разрешили свидание с Фуксом. Это было давно, Антон тогда увлекался историей создания атомного оружия советскими физиками. Всё было наглухо засекречено. Ведущие физики ходили с охраной. Антон помогал устанавливать в ГДР трансформаторы. За это немцы позволили ему встретиться с Фуксом. О Фуксе в России слыхали только атомщики. Известно было, что выменяли его, заключённого, у англичан. Фукса поселили в Дрездене. В малом коттедже. Антона встретила крупная женщина, жена Фукса. Она хорошо говорила по-русски. Кажется, её звали Тереза. Сам Фукс оказался щуплым, хрупким, в больших очках, его лоб, высокий, как купол, возвышался над его смущённой физиономией.

Фукс предложил разговаривать не дома, лучше, мол, проехаться по окрестностям. Видимо, опасался прослушки. Они сели в машину, Фукс – за руль, Антон рядом.

Обыденность этого человека удивляла Антона. Ничего великого, никаких следов пережитого. Учитель, или ветеринар, или аптекарь.

Поехали к его знакомому сыровару, потом к виноделу. По дороге Фукс то и дело поглядывал в зеркало заднего вида. Привычка его прежней жизни в Америке – не следует ли за ними хвост.

Он был сын известного немецкого теолога. Когда отца арестовало гестапо, Клаус перебрался в Англию, там окончил университет. Стал физиком-теоретиком. Профессия теоретика, она видна и в облике, и в речи. Работы Фукса привлекли внимание Роберта Оппенгеймера, руководителя Манхэттенского проекта в США. Он пригласил Фукса к себе в Лос-Аламос, самый секретный в то время город. Там несколько сот физиков, инженеров и техников, не щадя себя, создавали первую атомную бомбу. Шла война. Россия, Германия, США – три группы физиков-атомщиков соревновались в смертельной гонке.

Американцы не собирались делиться добытыми результатами со своими союзниками, английскими и русскими физиками. Почему – спрашивал себя Фукс – русские, они ведь несут главную тяжесть войны...

Магда поморщилась:

– Зачем ты это мне рассказываешь? Я не люблю американцев.

– Нет, слушай. В какой-то момент Фукс решил, что разрабатывать такое оружие тайком от русских – нечестно. Он связался с русским посольством. Впрочем, подробности, имена, даты он мне не приводил. Скорее всего, ему пришлось придумать свой тайный способ связи. Он не хотел приукрашивать свою историю опасностями, превращать её в приключенческую повесть. Рассказал советским органам, что делается, стал передавать им данные. Действовал один, безвозмездно. Контрразведка американцев не дремала... Супругов Розенберг – тех выследили, осудили, посадили на электрический стул за шпионаж. Фукса это не остановило.

Магда устало потянулась.

– Мне этих историй хватает в телевизоре.

– ...Для Клауса самое мучительное было то, что он предавал своего друга Оппенгеймера, – упрямо продолжал Антон. – Тот ведь за него поручился... Помог устроиться. Клаус рисковал жизнью и ставил под удар Оппен...

Магда заявила, что уходит к себе в номер.

– Как тебе не стыдно! Я, значит, должен дочитать твоего Шпеера, а ты...

– Сравнил.

– Вот именно, я хотел сравнить... Шпеер – нацист, сукин сын, а Фукс – это истинный подвиг таланта.

– Всё, я ухожу.

Повернулась и пошла к лифту.

За соседним столиком засмеялись. Там сидели двое мужчин и женщина. На столе стояли бутылки пива. Мужчины, улыбаясь Антону, подняли свои бокалы.

– Смешно? – спросил Антон. – Ничего смешного. Что вы знаете про Клауса Фукса? Ничего. А он четырнадцать лет отсидел. За то, что помог России. И хоть бы спасибо получил. Бесчувственные вы все, стыдно.

– Оставь нас, парень, – сказал молодой немец в модном серебряном пиджаке. – Соблюдай себя. Не нарывайся.

– Ему памятник надо поставить!

– Ну и ставь.

– Пьянь, – сказал другой, постарше, в очках.

– Что за народ, – возмутилась женщина. – Уходите.

– Нет, вы послушайте. Фукс спас Россию. Нам бы несдобровать. Как же можно так? И нам, и вам несдобровать.

Мужчины поднялись, взяли Антона под руки, потащили через холл к выходу.

– Иди-иди, мы заплатим, – успокоил его тот, кто постарше.

Они довели его до выхода, передали швейцарам, те вывели на улицу.

Утром перед работой Антон заехал в гостиницу. Магда не сразу открыла дверь. Она была в халатике.

– Прости меня, – сказал Антон.

Она впустила его, села в кресло, поджав босые ноги.

– Подвиг Фукса не давал мне покоя, – сказал Антон, – всё хотелось привести его в пример в противовес твоему Шпееру. Я думал, что тебе интересно сравнить...

– Нет, мне не интересно, – сказала Магда.

– Почему?

– С Фуксом мне всё ясно, как дважды два. Без проблем. Коммунист. Они фанаты.

– Мне со Шпеером тоже всё ясно – нацист.

– Да, тут мы расходимся.

– Ни за что! С какой стати! Чтобы из-за этой политики, да Фукс с ней, я тебе их всех уступаю.

Примирились, всё как будто уладилось, но какая-то трещинка осталась.

«Пишет она что-то о дяде, о Шпеере, вот и ладно, – думал он. – Это всегда поглощает. У человека должно быть что-то, кроме работы, кроме семьи, что-то своё, самое сокровенное, пища для души, у неё такое есть. И это стоит публиковать».

* * *

«Надо было хотя бы посочувствовать ей. Всё же он сухарь, давно заметил, что сухарь, и всё чаще бывает сухарём, продукт чёрствого, холодного постсоветского общества, у нас кончилось милосердие, началось обогащение. Технари».

Когда она рассказывала про того лейтенанта, она дотронулась до его руки, рука её была горячее, кажется, это её манера – касаться рукой собеседника. Ещё у неё привычка встряхивать головой, откидывая волосы так, чтобы видеть собеседника или чтобы он видел её, а потом волосы опять непослушно спадают, затеняя лицо.

Сказать бы ей: «Честно говоря, ведь неизвестно, какая бы ты получилась от другого отца, кто знает». Или так: «Я разучился роптать на судьбу, и тебе не советую, мы не знаем, кто ею ведает, мы верим только в то, что видим, а ведь существует другой – невидимый и неслышимый мир». Она, конечно, скажет, что у меня на всё есть теории, я не могу себе представить, каково быть навсегда связанным таким происхождением.

* * *

История атомной бомбы занимала их всех со студенческих лет. Тогда в Ленинград приехал Роберт Юнг, американский журналист, автор бестселлера «Ярче тысячи солнц», книги по истории атомной бомбы. Вышла она в русском переводе тиражом более ста тысяч экземпляров. Была мгновенно раскуплена. В Ленинграде с Юнгом устроили встречу. Антон пробился в зал университета на его лекцию, сидел на полу, мест не было. Юнг рассказывал подробности об

американских, немецких и советских физиках. Тогда впервые прозвучали фамилии осведомителей, а проще – агентов – Розенберг и Клаус Фукс. После лекции Антон с приятелями уговорили Юнга зайти в ресторан и там допоздна расспрашивали его. Юнг даже подписал Антону на память свою книгу. Юнг рассказывал про физиков трёх стран, как они по-разному относились к своей работе, как отзывалась на это их совесть, про их страхи и сомнения. Антона поразила история физика Ханса Бете. Этого великого учёного выгнали из немецкого университета, поскольку мать его была еврейкой, это было не удивительно, другое запомнилось Антону – то, как Бете предложили участвовать в создании термоядерной бомбы, и как он не согласился. Было и лестно участвовать в этой работе, и ужасно. Потом не вытерпел, согласился, потом опять отказался. Так было несколько раз. Это была схватка любознательности учёного с совестью. Редкая в войну в том расколотом мире. Бете – талантливый физик. Его одни уговаривают участвовать в работах по бомбе, другие отговаривают. Он ездит советоваться к приятелям. «На Бете не действуют денежные соблазны», – пишет Юнг. Привлекает работа вместе с Ферми, Гаммовым. «И всё же Ханс колеблется» (Юнг).

Впервые Антон узнал, что были физики – пленники своей совести. Впервые он подумал, были ли какие-либо колебания у советских атомщиков. Судя по рассказам Юнга – вряд ли. И Антон тоже не мог представить себе, что у кого-то из них появились сомнения. Наоборот, в тот вечер Антон и его друзья признались Юнгу в своей мечте стать атомщиками и посвятить себя самой главной специальности тех лет. Юнг спросил: «Зачем?» Кажется, они тогда удивились такому вопросу. Они преклонялись перед советскими физиками, которые обеспечили человечеству паритет и ни много ни мало – гарантию от ядерного самоубийства.

Война тасовала одну судьбу за другой, думал Антон. Сперва Штейнберг делал бомбу для Гитлера, потом, в Сухуми, – для Сталина. Шпеер начал служить Гитлеру, влекомый призванием архитектора, а затем охотно перешёл в кабинет министра вооружения. Судя по мемуарам, он не возражал фюреру. Служил ему верой и правдой. Гитлер ссорился со своими генералами, не ладил со штабом, а со Шпеером ладил. Начались неудачи, становилось ясно, что война идёт к

поражению Германии. Ничто не могло поколебать Шпеера, он всё так же видел в Гитлере как бы предначертанность свыше.

Шпеер в книге привёл эпизод, когда под конец войны вдруг появилась надежда на успех. К Шпееру обратился Геринг, нельзя ли помочь немецким физикам, они работают над атомной бомбой, им не хватает только урана и «тяжёлой воды»... Немцы раньше американцев и русских взялись за проблему атомной бомбы. Есть надежда на успех. Специалистов тоже недостаёт. Шпеер проконсультировался с Гейзенбергом. Ведущий физик, нобелевский лауреат разъяснил Шпееру силу нового оружия. Шпеер воодушевился, специалистов-физиков отозвали из вермахта. К 1944 году, обеспечивая заказы проекта, они уверены, что обогнали всех. И вдруг что-то у них заело... Что-то найти не могут.

Понимала ли Магда, что наступил один из самых критических моментов Второй мировой войны? Атомная бомба в руках Гитлера могла обеспечить быструю победу фашизма. Чаша весов истории заколебалась.

Гений Гейзенберга не помог. После войны стали приписывать Гейзенбергу и его команде умысел.

Что мог Антон сказать о мемуарах Шпеера? Там нет покаяния, есть немало умолчаний. Шпеер провёл всю войну рядом с Гитлером, общался с ним, обсуждал будущий облик Берлина, бывал у него на обедах – фаворит, похоже преуспевший. Гитлер предстаёт живым, разным, трёхмерным. Но сам Шпеер вызывает удивление, казалось, он должен бы думать о дамокловом мече России, занесённом над Германией, о тотальном уничтожении евреев, цыган и прочих «недочеловеков». Шпеер постоянно общался с нацистскими заправилками, теми самими, кого повесили в Нюрнберге. Однако главным героем его мемуаров всё время оставался Гитлер, он для Шпеера стал античным героем. Магда считала это доказательством искренности писателя. Он не скрывал своих симпатий к фюреру, описывал подробно его пристрастия, его вкусы, его архитектурные идеи. Фюрер получался художественной натурой, но никак не солдафон-ефрейтор, не маньяк, не душегуб.

– Ты осуждаешь искренность Шпеера?

– Я не понимаю, неужели за двадцать лет, сидя в тюрьме, он не сумел иначе увидеть своё прошлое? За эти годы Германия избавилась

от нацизма, а у Шпеера симпатия к фюреру сохранялась.

– Не скажи, он единственный на процессе осудил нацизм. Всё-таки талант может иметь собственное мнение. Кроме того, Шпеер был благодарен человеку, который дал ему возможность реализовать себя. И стать великим архитектором.

– Ну уж не великим.

– Видишь, всё-таки интерес к его проектам не угасает. Гитлер извлёк Шпеера из неизвестности. И это – навсегда.

Осуждает, но уважает, нет ни ненависти, ни презрения.

С трудом он пробирался сквозь её сердитые ответы, чувствовал, как она накалилась.

– Как ты не любишь русских, если ты сама отчасти русская?

– Зря я тебе рассказала, ничего ты не понял. Это моё несчастье, оно с детства началось.

– Это не твоё несчастье, эта война всем досталась.

– Война уже кончилась, это было в сорок шестом. Мать в тот день мыла окна. Она смотрела на него с вызовом.

– Уборщица. Понятно?

Он должен был отвечать за того сволочного лейтенанта. С какой стати? Насилуют и поныне, убивают, насилуют повсюду – в России, в Германии. Что ж делать? Какая разница, из-за чего ты родилась, как будто у неё был выбор. Появилась на свет божий, тебе уже повезло, твоё дело – жить достойно и радоваться. Судьба выбрала из тысяч вариантов один – с твоими глазами, с твоим телом, с твоей красотой – это же счастье. Слепое счастье, полученное ни за что, ничем не заслуженное. Он всегда ощущал своё рождение как дар случая, Его Величества Случая, главного администратора жизни. Антон принимал своё появление на свет как выигрыш. Он всегда удивлялся, почему люди обижаются, жалуются, не понимая своей удачи. На что жаловаться Магде? У того лейтенанта, может быть, была неплохая генетика, не хуже, чем у какого-нибудь бюргера. Какого чёрта она себя накручивает, что плохого в полукровке, мы все полукровки, четвертькровки. Отец говорил, что какой-то прапрадед был у них каторжником.

– Ну и что, что, я спрашиваю, – накинулся он на Магду, – что ты наполовину русская, а может, во второй половине у тебя есть и евреи,

и поляки, неугодные вашей расовой теории?

Теперь она смотрела на него со злобой: – Слушать не хочу! Я, по-твоему, должна благодарить этого насильника? Он испортил жизнь моей матери и остался безнаказанным! Я для родных стала неполноценной, какой-то... выродок...

Он больше не спорил, видел, что раздражал её ещё больше. Шутливо напомнил, для чего она приставлена к нему. От этого «приставлена» она взвилась:

– Дура, легковёрная дура, хотела найти сострадание, а нашла...

Их ссора разрасталась, и, кажется, непоправимо, в конце концов Магда, не прощаясь, уехала.

Посреди ночи он проснулся, встал, прошёлся босиком по ковру, встал у окна. В чёрном небе висела надкусанная жёлтая луна, внизу шумел бессонный город, вспыхивала реклама. Безостановочный шелест машин был как звук уходящей жизни, спит он или не спит, жизнь убывает. Вопрос о том, на что её тратить. Он работает, чего-то добивается, больше энергии, ещё больше, миллионы киловатт-часов, выключатели, включатели... Думать не хотелось, спать не хотелось, настроение было пакостное. Он знал отчего, но винил излишек пива и этот постылый гостиничный номер, недочитанные бумаги на столе, таблицы – всю эту деловую мутотень.

Что она хотела получить от него – сочувствие? Подтвердить, что она жертва? Не понимает, что она награда для матери, что она её утешение. У неё есть молодость, здоровье, есть столько возможностей стать счастливой. Дура, какая дура, никакой беды нет. Она рассказывала, как в школе её травили за происхождение, он вспомнил, как она говорила про мать: вся эта история привела её к болезни, как-то она её назвала, что-то нервное, у матери бывают срывы, причём до сих пор. Война не уходит ни у нас, ни у них.

Он не собирался искать примирения, с какой стати, как будто он виноват, тем более – просить прощения. Обойдётся.



Вот так он сидел, и говорил с ней, и придумывал её ответы и свои ответы на её вопросы.

А что, если взять и позвонить ей, разбудить? С трудом удержал себя – чего суетишься, на тебя это не похоже, никуда она не денется. Если не вернётся, тогда это может зацепить.

Кто-то другой слушал его мысли и посмеивался – разве так решают, стоит влюбиться – или не стоит.

Прислушивался и не очень понимал, что там у него творится внутри, кто-то там спорил, дразнил. В самом деле: почему не влюбиться, давно он этим не занимался, ждать свидания, мечтать – когда-то это доставляло удовольствие. Особенно вначале, особенно увертюра, что-то там предстоит, как всё сложится. Сами романы длились недолго, поначалу они воспринимались как приключения, потом это становилось привычкой, а потом они заканчивались.

Вдруг, неожиданно даже для себя самого, он встал, подошёл к телефону и набрал номер. Ждал почти минуту. Наконец она взяла трубку и сказала:

– Алё, слушаю.

Он не ответил.

– Слушаю, – повторила она.

Он не отвечал.

Она помолчала и вдруг сказала:

– Хорошо, что ты позвонил. Я тоже наговорила лишнего, подождём дня два, остынем. – Подождала несколько секунд. – Спокойной ночи.

Через некоторое время он обнаружил, что сидит на подоконнике перед раскрытым окном, оттуда сквозит теплом, хотя на улице студёно, что он в одних трусах, что улыбается, и, может быть, уже давно.

Однажды она спросила:

– А что, у тебя и сейчас кто-то есть?

– Магда, вот мне, например, совершенно ни к чему твоё женское прошлое – кто у тебя был, кто есть. Ты для меня как невинная девушка.

– Ладно, – отступила Магда, – спрошу тебя по-другому. Чем я отличаюсь от них всех?

Он довольно улыбнулся.

– Вот это пожалуйста. Ты как хлеб, в тебе нет приедаемости. Ты меня озадачиваешь. Это интересно. От всех других я устаю, не важно – женщины, мужчины – всё равно. Для меня удовольствие остаться одному. – Да, – подтвердил он. – Одиночество для меня благо. Мне всё некогда пообщаться с самим собой.

– Это как?

– А так, что мы ищем друзей, с кем поговорить, поделиться, а себя забываем. А у меня лучше всего получается, когда я остаюсь наедине с собой. Совсем другое настроение – размышляю, спорю. Так у меня получилось немного с теорией устойчивости, это потому, что я уехал зимой к Арсению на дачу. Топил печку, сидел у огня, погрузился в математику, ни на что не отвлекался.

В Италии мы туристами побывали в Ассизи, в монастыре Святого Франциска, он стоит на горе над городом. Это Средние века. Познакомились с настоятелем. Он показал келью, куда приезжают пожить. На неделю, месяц. Снимают келью и живут по монастырскому режиму – заутренняя молитва, вечерняя, еда в трапезной со всеми монахами, остальное время – молись, погружайся в себя. Идеальные условия попробовать узнать, кто ты такой, того ли хочешь, тем ли занят, к чему у тебя способности, может, ты совсем для другого рождён, может, тебе приготовлена другая судьба... Может, тебе предначертано стать лётчиком. Или строителем. Келья маленькая, есть душ, туалет, висит распятие, узкая железная кровать, на столе Библия. И всё. Ни радио, ни телевизора. Добровольное заточение, это же роскошь.

Антон разошёлся. Быстро ходил по комнате, говорил уже, скорее, сам с собой, позабыв о Магде.

– Одиночество – оно плодотворно. В одиночестве творят художники, работают учёные-теоретики, писатели. У нас к одиноким людям, да и вообще к одиночеству относятся с подозрением. С жалостью, как к неудавшейся жизни. На самом деле человек должен уединяться, и чем чаще, тем лучше. Раньше были отшельники, и эта отшельническая жизнь часто помогала учёным типа Менделя, физика Максвелла. В монастырях – и в России, и в Италии – писали книги, создавали духовную литературу.

Магда умела слушать, это редкое качество. Обычно Антона прерывали вопросами, он отвлекался на свои собственные мысли, а она просто слушала и молчала. При этом было очевидно, что она испытывала интерес даже не столько к тому, что он говорил, а к нему самому.

Было воскресенье, когда его разбудил телефон. Он не хотел просыпаться, вставать.

Не хотел говорить. Телефон не умолкал. Он поднялся, взял трубку. Звонила Магда.

– Разбудила? Я вчера не дозвонилась. Слушай, мы, наверно, будем в Питере.

Она выпаливала, не дожидаясь его ответа. Будет две недели сопровождать художника Генриха Радлица. Ему нужен Эрмитаж. И ещё Русский музей. И фрески. Переводить картины не нужно. Так что она будет свободна...

Антон сперва обрадовался, потом вспомнил, что ему скоро надо лететь на стройку ГЭС.

Она что-то почувствовала, потому что спросила, будет ли он свободен. И тут же добавила, что всё равно воспользуется случаем, ей интересен Питер. Утешила. Он заверил её – чего-нибудь сообразим.

Совпадение было досадным. Он уже договорился, его там ждали. Менять, откладывать? По какой причине? К нему приезжает – кто? Отпрашиваться надо было у главного инженера. Невозможно. Всё же он должен попытаться. Пока он сидел в приёмной у Главного, решимость его возрастала. Она добилась поездки, и он должен добиться.

Главный, выслушав его, разорался. Ни в коем случае, есть обязательства. Государственные наши дела выше личных.

– Для меня выше личные. Раз я пришёл, значит, у меня...

– Он пришёл! Соблаговолил!

– Поеду недели через две.

– Не исполнишь – уволю!

– Пожалуйста.

– Ты что, серьёзно?

– Вполне. Могу сейчас написать заявление.

Главный налил себе боржоми, налил Антону, внимательно посмотрел на него.

– Ладно, даю тебе неделю, – сказал он.

– Нет, – твёрдо сказал Антон. – Если получится. Но официально две недели.

– Да, не ожидал.

– Не беспокойтесь. Нагоним.

Уже на лестнице Антон похвалил себя, он тоже не ожидал, что добьётся.

Магда с художником пробыли в Питере два дня и укатили в Вологду. Так что всё обошлось. Вернутся и пробудут в Питере, как намечали, две недели со всеми галереями, музеями...

После Петергофа были намечены Пушкин, Гатчина, Павловск... Магда взмолилась, потом, как-нибудь в другой раз. Теперь у нас «vice versa».

Её больше всего интересовали «бывшие начальники», остатки сталинской номенклатуры, те, что пережили «большой террор», те, что правили страной в годы войны. Хотела сравнить их с немецкой знатью времён нацизма.

Высшего начальства Антон не знал, они были небожители, недоступные пешкам вроде него. Как ни странно, были долгожителями, несмотря на все опасности своей высоты. Наверное, их остатки где-то доживали, прячась от журналистов и любопытных. Случайно он познакомился с одним из сыновей Маленкова, это был биолог. Узнал, что отец с матерью живут в Москве, ютятся в маленькой квартирке, никого к себе не принимают. От сына Антон узнал кое-какие подробности «Ленинградского дела». От этого «дела» пострадала его бывшая школьная учительница немецкого языка Мария Генриховна. Её мужа посадили, а её выслали в Сибирь, муж был один из секретарей райкома. Их тогда всех репрессировали по «Ленинградскому делу», только после смерти Сталина её реабилитировали и помогли вернуться в Питер.

Что такое «Ленинградское дело», Антон пытался и не смог объяснить Магде. И Мария Генриховна ему никогда не могла объяснить, в чём именно была его суть. Одно из тех дел сталинского времени, где подлинные причины были скрыты и всё прикрывалось термином «враги народа», «антипартийная группа».

Жила Мария Генриховна вместе с дочерью и внуком в большой коммуналке, была на пенсии, давала на дому уроки немецкого. Антон перед командировкой в Германию ходил к ней освежить свой немецкий. У неё сохранился акцент и старомодная учтивость, тоже родительское наследство. К их приходу с Магдой она приготовила ватрушки, поставила на стол розетки с вишнёвым вареньем. Комната была перегороджена невысокой фанерной стенкой. Висели фотографии родителей и три фотокопии портретов её предков, усатых пруссаков. Она обрадовалась приходу Антона, расцеловала его, обрадовалась и

Магде. Пухлое её личико со старческим румянцем расцвело, залучилось. Сели пить чай. Магда нахваливала ватрушки.

Про свою ссылку Мария Генриховна рассказывала охотно, без жалоб, там находилось немало жён бывших начальников и по «Ленинградскому делу», и прочим репрессиям. К ленинградцам относились со скрытым сочувствием. В первую очередь пострадали блокадники, директора заводов, институтов – те, кто все 900 дней работали и в Ленсовете, а потом на Дороге жизни. Арестовывали и тех, кому после блокады поручено было восстанавливать разрушенные дома. Рассказывала Мария Генриховна, не считаясь с тем, что рассказывает иностранке, да ещё немке. Магда слушала жадно, это было то, что она искала. Про послевоенные дела, суды над военными, над промышленниками, авиастроителями, про «дело врачей» – как коммунисты расправлялись с коммунистами. В ссылку в лагеря через жён доходило то, о чём не знали ни в Питере, ни в Москве.

Были рассказы арестованных жён Калинина, Молотова, Бухарина. Лучше всего ей помнились рассказы родственников тех, кто проходил по «Ленинградскому делу».

– Представьте, самых главных расстреливали голыми, – рассказывала Мария Генриховна, – чтобы как-то унижить напоследок. Сталину по телефону докладывали подробности.

Антон усомнился:

– Может, это лагерный фольклор? Мария Генриховна заволновалась:

– Как ни стыдно, но это правда, я сужу по тому, как допрашивали, как пострадал племянник Вознесенского, он видел, во что превратили его дядю во время допросов. И вы знаете, – она вдруг опасно сменила голос, – их и жалко, и не жалко. Позже я узнала, что Кузнецов, когда его уже перевели в Москву, в ЦК, он подписывал списки на расстрел, а потом его самого... Кто он – жертва или наоборот? Я не могу разобраться.

Она вопросительно смотрела на них.

Антон не знал, что ей ответить. В это время явился внук, Кирилл, подросток лет пятнадцати, скинул куртку, подсел к столу, критически посмотрел на роскошный букет, принесённый Магдой, на бутылку «хванчкары», взял последнюю ватрушку, сказал едко:

– Лучше б вы принесли сосиски.

И ушёл.

– Ничего страшного, они любят самоутверждаться, – сказал Антон.

Рассказы Марии Генриховны произвели сильное впечатление на Магду.

– Такие люди, как она, – это всё равно что находка в архиве, – сказала Магда.

На улице они долго молчали, потом Магда произнесла:

– Когда ты пошёл вразумлять мальчика, я спросила Марию Генриховну, не хочет ли она уехать в Германию. Думаю, это можно устроить. Она отказалась – ни за что! А ведь живут они тут плохо. Что её удерживает?

– Она считает, что ей повезло, смогла вернуться в Питер, её жалеют, получила жильё, работу, реабилитированным всё-таки очень сочувствуют. Есть пенсия, сохранила дочь. Это всё не просто.

– Она заслужила жить в других условиях.

– Знаешь, всё относительно, ты тоже живёшь не роскошно по сравнению с Сименсами.

Антон подумал: хорошо, что Кирилл не слышал её предложения и отказ бабушки. Неизвестно, как бы он отнёсся к этому.

Назавтра Магда вернулась к «Ленинградскому делу». Всё же непонятно, как такое могло случиться, блокада ведь подвиг ленинградцев.

Трагедия блокады унесла жизни старших Чагиных – деда и бабки Антона. Блокада опустошила его детство. Она осталась самым подлым преступлением вермахта. Он понимал, что в Кремле шла борьба за власть, и там уже ни с чем не считались.

– Как они все одинаковы, эти диктаторы, – говорила Магда, – Сталин, Гитлер,

Мао Цзэдун. Вот так же Гитлер перестрелял своих сподвижников – Рэма и его команду.

Кое-что к рассказу Марии Генриховны добавил Магде знакомый Антона, доцент-историк. После Победы Жданов стал выдвигать ленинградских руководителей, переводил их в Москву. Это насторожило приближённых к Сталину. Фаворитов не должно быть много, а претендентов и того меньше. Разгорелась борьба за близость к телу. Берия и Маленков против Жданова. Поводы использовались любые, например: ленинградцы без разрешения устроили ярмарку

залежалых товаров. Мол, им ни ЦК, ни Сталин не указ. Они рвутся к власти. Играли на подозрительности вождя, ленинградцев выставили заговорщиками. Краснощёкий, курчавый историк излагал свои объяснения с восторгом неопита. Он вызывал у Антона раздражение. Блокада для Антона была самой трагической страницей Второй мировой войны. Антон уговорил Магду посетить Пискаревское кладбище, это место сакральное. Заросшие травой могильные холмы сохраняли страдания умирающих от голода горожан. Город был и героем, и мучеником. Красавец, любимец Петра, всей своей судьбой отличался от всех других городов России. Он был как незаконный её сын, был придуман Петром, который для Антона тоже казался незаконным сыном Тишайшего царя Алексея.

Магда не выдержала, назвала Антона монархистом. Да, ему нравилась королевская Англия, королевства Испании, Норвегии, их устойчивая жизнь и вековые традиции.

Магда спросила:

– Почему город не капитулировал, как прочие европейские города?

Антону уже задавали такие вопросы в Германии. У него был приготовлен ответ:

– Причина та же самая, по которой вы проиграли войну.

Магда попросила разъяснить.

– Я спрашивал ваших историков: почему? Ответы были разные. Одни винили плохое руководство Гитлера, другие – оттого, что Америка вступила в войну на стороне союзников. Один сказал мне: у русских воевали кроме солдат ещё партизаны. Кто-то ссылался на морозы.

– Ну а по-твоему?

– По-моему – оттого, что у вас провалилась идея превосходства, вермахт увидел, что мы умеем не хуже их воевать. В этом убедил их Сталинград, где они опозорились.

– Ну хорошо, а почему вы всё-таки победили?

– Слушай, о чём мы говорим, ты что, для этого приехала сюда?

– Нет, отвечай.

– У вас было всё для победы – была техника хорошая, связь, опытные офицеры, авиация... Но мы победили, потому что защищали свою Родину от оккупантов, мы не хотели стать рабами. Ни за что. И мы сумели быстро превзойти вас во всём – и в танках, и в самолётах,

стало ясно, что немцев можно окружать, брать в плен со всей их техникой. Стало ясно и то, что немцы ничем не выше нас, что мы Россию любим не так, как вы Германию.

Ему приятно было её озадачить. Курносая её физиономия сморщилась.

– Вам впервые надрали задницу, и ваши генералы поняли, что войну им не выиграть. Мы сбили с вас спесь. Проиграла не Германия – проиграл нацизм.

Он заставил себя остановиться, замолчать. Взял её руку, успокоился, и злость отступила. Это всегда на него действовало умиротворяюще. Чувствовать её прикосновение было достаточно.

– Было ещё что-то, – неохотно сказал Антон. – Пушкин писал, что нам помог

Русский Бог. Это он про войну с Наполеоном. И у нас тоже было чудо.

– Ты верующий?

– Честно говоря, я думаю, что наша победа во многом – чудо. А в чудеса я не верю. Так что нечто таинственное остаётся.

У Вольтера герой постоянно утверждал: «Всё к лучшему в этом лучшем из миров». В юности он любил повторять себе эту формулу, она совпадала с уверенностью, что в Советском Союзе жизнь лучше, чем где бы то ни было, а будет ещё лучше.

Магда восхищалась Петергофом, Эрмитажем, и он надеялся, что она пожалеет, что не остаётся, и задержится хотя бы на месяц. Но она сердито оборвала: «Это не твоя Россия, эту Россию погубили» – и добавила, что жить здесь не сможет.

Она не понимала, что четыре года ему надо было выстоять в очереди, чтобы получить эту квартирку в доме без лифта и без гаража, не понимала, почему он был так счастлив. Два года он стоял в очереди за автомобилем. Здесь всюду были очереди: за луком, за холодильником. Он терпеливо напоминал, что город разрушили в блокаду, что жилья не хватает, что, когда Сталин умер, Шостакович произнёс: «Слава Богу, теперь можно плакать». До этого все советские люди должны были быть счастливыми.

Мы будем петь и смеяться, как дети,
Среди упорной борьбы и труда.

Вся страна это распевала. Магда не понимала, за что Антон любил советский строй, не понимала, что так любят неудачников со всеми их невзгодами, невезухой, что люди восстанавливают разорённые войной города, в том числе и Питер. Она соглашалась, признавала, что советские люди талантливы, душевны, но всё же: почему они такие покорные, почему они мирятся со своей убогой жизнью?

В тот день вечером Магда спросила, разрешено ли ему молиться, если Бог был запрещён в советской жизни? «Ты упрекал Шпеера за то, что Бога для него нет. А для тебя?»

Для Магды существовала непреложная истина: человек создан Богом и должен трудиться, благодарить, оправдываться. Магда полюбила Антона неверующего, русского, с трудом преодолев свои запреты. Все гении прежней России, каких она знала, верили в Бога: и Пушкин, и Чехов, и

Набоков. Почему Антон неверующий? Коммунисты выслали Бога из России, но Антон – он же не коммунист.

Он промолчал. Всё чаще он не мог ей отвечать.

Художникам вера помогала – и Рембрандту, и Репину, – все они, великие и малые, без веры не могли. Когда-то любимой его картиной было «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Эта картина была о нём, о его жизни. Он тоже хотел вернуться, он понимал, как права библейская притча.

С Троицкого моста открылись оба берега Невы, Петропавловка, Ростральные колонны, шеренги дворцов, особняков, садов. Оба берега соперничали, не поймёшь, какой краше. Их разделяла ширь Невы, главное украшение города – её «державное течение, береговой её гранит».

Они вышли на Марсово поле.

Антон рукой счистил снег на розовом граните надгробия. Одна за другой открылись высеченные строки:

Бессмертен
павший за великое дело
В народе жив вечно
Кто за народ жизнь положил
Трудился, боролся
И умер за общее благо.

Когда-то он знал эти надписи наизусть. Наверно, то было в седьмом или восьмом классе.

Не жертвы – герои лежат под этой могилой
Не горе, а зависть
Рождает судьба ваша в сердцах
Всех благодарных потомков
В красные страшные дни
Славно вы жили
И умирали прекрасно.

Надписи звучали как гимн, когда-то они волновали воображение. Он верил в их незыблемость.

Ныне они стали наивными, вызывали усмешку. Он читал их с жалостью. Жалость была и к своей школьной вере.

– Вот она, эпитафия нашей юности, – сказал он. – Страна утерянной мечты.

– Не замечала их. То есть замечала, но ни разу не прочла. В них сохранилась... искренность, что ли. Как замечательно начинали.

В середине некрополя трепетало пламя Вечного огня. Появилась толпа молодых людей. Двое подошли к огню, наклонились, стали прикуривать. Один из них чуть не упал.

– Вечный огонь вместо зажигалки, суки, – сказал Антон.

– Не задирайся.

– Ещё не вечер, – ответил он.

Да, ещё не вечер.

В подъезде пахло кошками. Магда поморщилась. Никогда раньше Антон не ощущал этой воню, ни здесь, ни у себя на лестнице. Сейчас обратил внимание. Грязь, надписи в лифтах, признание в любви и тут же похабщина.

Он позвонил три раза, как было указано в списке. Дверь открыла девочка с перевязанным горлом, повела их по длинному коридору мимо кухни, заставленной столиками. Висели объявления, Магда остановилась почитать. Спросила, что это. Антон объяснил: расписание уборки, плата за счётчик, плата за телефон, объяснил, что значит «места общего пользования».

У каждой двери лежали коврики. Девочка привела их в большую комнату. Вдоль стен стояли три кровати, посередине стол, заложённый книгами, тетрадями.

– Деда, это к тебе.

Из-за ширмы вышел седобородый старик с костылём, в толстом свитере, на голове вязаная ермолка. Морщинистая его физиономия раздвинулась в радостной улыбке.

– Тоша, наконец-то пожаловал.

Звали его Зиновий Тимурович, полковник в отставке, доцент в отставке, лектор в отставке. Хозяин весело дополнял список своих служебных понижений. На стенах висели овальные портреты предков: офицеры, штатские с орденами, лентами, мать совсем молодая, с тоненькой талией, а вот и сам Зиновий Тимурович – майор с орденом Красного Знамени, красив, статен, прямо со снимка приглашает на свиданку.

Магда не удержалась – не то спросила, не то похвалила:

– Видно, ходок был.

– А то, – ответил старик. – Не терялся.

Зиновий Тимурович охотно поддержал её шутливый тон.

– Да, и в Германии, и в России не терялся. И не жалею, есть что вспомнить.

– На войне тоже побывали?

Было заметно, как голос её напрягся.

– На войне тем более, на войне сроки короткие. Признаться, я на передке после ранения мало бывал, я боеприпасы подвозил для артпульбатов, у нас в части потери поменьше. На переправе мне досталось, можно считать – счастливчик, а можно – наоборот. Как у нас говорят: «Мы не от старости умрём, от старых ран мы умираем».

Посидели, выпили, повспоминали. Заговорили о докладе Хрущёва, о том, что он тогда на съезде сообщил о Сталине.

Руслан Рукавишников, который молился на вождя, теперь требовал сносить все памятники ему, сносить торжественно, под звуки оркестров, все тысячи памятников, которые позорят страну.

У Морозова в этом кабинете висел портрет Сталина, так он закрыл его железной тюремной решёткой, пусть тоже посидит. Калмыков, их помпотех, считал, что вождя надо не в тюрьму, а в клетку и выставить

клетку на обозрение, как когда-то Пугачёва. Он не любил «конопатого». С тех пор как всю его родню выслали.

– Правильный обычай, – сказал он, – зря у нас его позабыли.

Начал он с того, как шли они на новых машинах, танки ПС, только что полученные ими аж в Челябинске. Танки были отличные, тяжёлые, но в этой Пруссии мосты добротные.

– Шли без опаски. Немцы отступали, потерь у нас было немного. Придали нам пехоту, десант облепил машины, тепло от мотора, башня – хорошее укрытие, от пуль только звон по броне. Слава Богу, фаустпатронов у фрицев ещё не было. Добрались до немецкого городка – Штупен... Шталберт... – название запомнил, помнится только, что над городком этим стоял замок, слух был, что это охотничий замок Геринга. Оттуда поначалу стреляли, но мелочовка, так что на это ноль внимания, фунт презрения. Пару очередей по ним дали из крупнокалиберных, и на том они заткнулись...

Рота расположилась во дворе замка, стала замаскировывать машины.

И тут сообщают, что наши пехотинцы вошли внутрь, в замок, и творят там шабаш.

Нашим дело десятое, но взводные у него были молодые ребята, в замках никогда не были, да и я не знал, что это за сувенир. Отправился туда посмотреть. Обеденный зал огромный, дубом обшитый. Там пехота и пошла вразнос. Стрельбу устроили, лупят из автоматов кто куда – по медвежьим чучелам шпарят, по картинам очередями, по витражам. Стол обеденный накрыт – по сервизу, два амбала тарелку за тарелкой об пол, бокалы, фужеры, вазы вдребезги. Хруст под ногами, клубы дыма под потолок. Форменное сражение затеяли. Битва на уничтожение. Ликование, ярость – всё вместе. Лейтенанты его пытаются их унять, куда там, старлей надрывался, понимал, что дело плохо. Люди просто ошалели, добром это не кончится. Старшина десантников советовал Морозову мотать отсюда, дать ребятам душу отвести. Дурень, он без понятия, ведь, того и гляди, особисты нагрянут. Это же замок Геринга, не жук на палочке! Старшина в ответ: «Имеем право!» Море ему по колено, видно, и его уже понесло. Морозов решил уходить и уводить своих ребят.

Только спустились, как во двор влетели две машины особистов. Во главе майор, седоусый толстячок, на вид добродушный. «Доложите!»

Ввернул ему Морозов, мол, десантники хорошо себя показали за время марша, устали. Хотят Геринга наказать. Майор приказал следовать за ним.

Известие о прибытии особистов уже разлетелось. Разгул прекратился. Притихли. Майор молча прошёлся, только головой покачивает. Его молодцы заняли входы-выходы. Майор тихим голосом, видать умышленно, сообщил, что есть приказ товарища Сталина строжайшим образом наказывать за безобразия, мародёрство, насилие на немецких землях. Отдавать под трибунал, направлять в штрафные роты, вплоть до расстрела. Потребовал вести себя достойно, как положено советским воинам.

– А вы что тут творили, как бандиты?! – закричал он. – Нарушили приказ генералиссимуса.

Старшина десантников не растерялся, говорит, что им ещё этот приказ не зачитывали, они знают другой приказ товарища Сталина: «Смерть немецким оккупантам!»

Выступил ещё один умник: «Они, значит, наши деревни жгли, баб насиловали, им, значит, можно. Что, они нас цветами встречали?»

Другой тоже подбавил насчёт грабежей, как фашисты два года мародёрством занимались по всей России.

Майор на это ответил:

– Им положено, поскольку они фашисты. Мы не фашисты, а тот, кто подражает им, – того под суд!

Плохой оборот получался. Старшина заявил, что товарищ Сталин как главнокомандующий должен понимать состояние солдат, наконец-то добравшихся до немца.

Вдруг какой-то юный голосок раздаётся:

– Товарищ Сталин не стал бы за Геринга нас судить!

Наступает короткое опасное молчание. Майор перешёл в багровое состояние:

– Вы что себе позволяете!

Как потом рассказывали, смершевский капитан схватился с пехотным старшим лейтенантом. Матерщина не помогла, но и до драки не дошло, смершевцы понимали: солдаты в горячке, при оружии. Дали поостыть, майор ужасался – натворили такого – не скроешь, форменный разбой. Морозов в диспут. Лейтенант пехотный не поддавался: «Нет, вы скажите – убивать можно, громить нельзя?»

Десантники наперебой загалдели – фашисты жгли наши деревни, разоряли страну, одни печи торчат, а мы, значит, Герингу замок должны беречь? Они наших баб не щадили!

Тут особисты забрали тех, кто громче орал, ещё кого-то прихватили. Чего-то выясняли, Морозова допрашивали. Приписали ему пассивное поведение...

– Сталин не понимал нашего сочувствия, – заключил Зиновий Тимурович. – У меня есть своя история...

Но Антон извинился, они торопятся.

* * *

Гитлер, тот приезжал на Ленинградский фронт, и не раз, об этом сообщали немецкое радио и наше. Сталин однажды решил посетить армию в районе Можайска, но с полдороги вернулся в Москву.

Сталин и в Гражданскую войну тоже на передовую не ездил, сообщил Антону Витя Фролов, тогда политрук, а после войны – директор библиотеки, вычитал у историков про Сталина-книгочея. Сталин много читал классиков: Толстого, Достоевского, Чехова, Анатоля Франса. Делал пометки на полях. Пометки любопытные: тут согласен, там не согласен. Казалось бы, должно было действовать.

Ничего подобного. По-прежнему подписывал расстрельные списки, требовал пытать, ссылал в лагеря. Непрерывно. Великие гуманисты, великие их романы на этого читателя не действовали.

После войны Морозов много опрашивал писателей про Сталина, особенно стариков, добрался до Фадеева, потом до Симонова. Чем дальше, тем было интереснее. Как будто он открывал неизвестное науке существо. С удивительными свойствами.

Была встреча офицеров с маршалом Говоровым. Тот приоткрыл им кое-что про

Жукова, как Сталин принялся гнобить его сразу после войны, когда Жукова стали славить. Победа должна иметь одного автора, ни с кем её делить Сталин не собирался.

Хрущёв на встрече в Доме офицеров разгорячился и пошёл ещё пуще поносить Сталина. Видать, накопилась злость за годы унижений, подхалимства, малодушия. Вот он и вымещал.

– Это я понимаю, хотя не по-мужски так, вдогонку, – сказал Зиновий Тимурович. – У меня другой счёт. Вы мне объясните. Он

выступает на торжественном заседании по поводу Победы. И ни слова о павших. Не помянул, не попросил встать, почтить память. Миллионов. Ни словечка сочувствия вдовам, сиротам. Как так можно! Нет, согласитесь, это бесчеловечно.

Пили чай. Зиновий Тимурович показывал альбом своих военных фотографий и альбом, подаренный ему в театре Брехта. Время от времени он возвращался к событиям военных лет. Вновь растолковывал:

– Мы хотели возмездия. Мы имели на это право. Честно говоря, я дошёл до Кенигсберга уже таким ожесточённым, не приведи Господь.

Он посмотрел на Магду, развёл руками: – Вы уж извините, разболтался. Пора бы забыть. Кто старое помянет, тому глаз вон. Такая у нас пословица. А кто забудет, тому оба вон.

Он улыбнулся, не нам, скорее себе.

Вечером она призналась Антону, что хотела расспросить старика: будучи лейтенантом, служил ли он в Берлине? Хотела, но не посмела.

Антон не сразу понял, потом рассмеялся.

– Ты курносая, а у него клюв горбатый.

На Пискаревском кладбище Магда спросила, почему Ленинград не капитулировал, как прочие европейские города. Прага, Брюссель, Копенгаген – все оставались в целости, не было таких безумных потерь.

– Ну, во-первых, не все, во-вторых...

Он остановился, потому что не знал, что сказать. Когда в Германии его спрашивали то же самое, он усмехался: потому что ленинградцы не знали, что такое капитуляция. Магду его уклончивость не устроила. Но ведь и немцы не могли ему ответить: почему они, имея превосходство в авиации, в военном опыте, в автоматах, почему они проиграли войну? Завоевали Прибалтику, Украину, Белоруссию, подошли к Москве, окружили Ленинград – казалось, всё, России капут. Кстати, план блицкрига, тщательно составленный, был уже почти выполнен. Ничего подобного, никакого капута русским не получилось. Что произошло? На чём сломалась немецкая военная машина? Немецкие историки ссылались на морозы, на русское бездорожье, на партизан. Но сами понимали, что это не ответы. Был ли ответ у Антона?

– Америка сумела присвоить себе победу над Германией. Почему мы, немцы, согласились с этим? – удивлялась Магда. – Политикам немецким, очевидно, выгоднее переадресовать поражение от Америки. Мощный противник всё-таки почётнее. Не то что эти коммуняки.

Антон с ехидством напоминал о том, как союзники откладывали высадку в Нормандии, бесстыдно тянули с операцией.

– Американцы, конечно, рады присвоить себе победу, почему бы и не получить от немцев такой подарочек, согласна?

Магда задумчиво посмотрела на него:

– Не знаю. В таких событиях самое трудное – найти ответ на самые простые вопросы.

Она была права, он перестал понимать многое из того, что происходило в стране. Фашизм победили, а бедность не могли. Культ личности одолели – так появился культ рубля. Он растёт и растёт вместе с коррупцией, криминалом, безразличием. Расползается вширь и вглубь, вплоть до Кремля. Ничего не может устоять – ни медицина, ни Академия наук. Судят, сажают – не помогает. Почему? Откуда такая чума появилась, чем её одолеть? Всё можно купить. И всех: и милиционера, и министра.

Много времени у неё отнимал художник Радлиц. Они посещали музеи, картинные галереи и мастерские художников. Антон познакомился с Радлицем в Германии, на приёме у Ротшильдов. Радлиц был художником известным. Чудаковатый, он и в живописи своей любил чудить, рисовал часто вверх ногами. На этикетке у Ротшильдов он изобразил двух барашков, стоящих вверх ногами на небе. Он объяснял, что современный мир абсурден, всё перевёрнуто. И действительно, его картины показывали, что мир существует как совершенно иной, когда он стоит как бы на голове.

Как договорились, Антон встретил Магду у Летнего сада, и направились в Русский музей. Их настиг дождь. Он хлынул внезапно, яростный ливень, они побежали, но уже было бесполезно, он их нагнал, они разом промокли. В таком виде идти в музей не решились, поэтому пошли к Антону домой. У него нашлась водка, они приняли по сто грамм, сперва русской, потом по сто грамм мексиканской. Магда разделась, всё насквозь было мокрое. Пошла в ванную, выжала, развесила, вернулась в халате Антона. Он остался в трусах. Включил

печку, включил радио, нашёл музыку, и они принялись танцевать для согрева, потом легли в кровать, конечно, тоже для согрева, легли и занялись любовью. Согрелись, потом ещё раз согрелись. Обычно они как-то готовились к этому, а здесь всё было наспех. Затем начались игры, лежали, не желая расставаться с горячей близостью, лениво урчали, разговаривали только телами. Антон дремал и просыпался, и когда он спал, всё равно продолжалась радость от близости Магды. Он получал нежное тепло её тела, убеждался, что это было самое хорошее и самое главное. Ничто другое не доставляло такую радость. Он думал, что это не хорошо, но понимал, что именно это хорошо и что та работа, которую он делал, не самое главное. А главное – это её тепло, её кожа, такой нежности и хрупкости, как крылья бабочки. Он не спрашивал, как ей нравится, ему было хорошо, и он не представлял себе, что может быть что-то лучше, чем эти минуты. Её кожа становилась иногда влажной, иногда Магда гладила его, руки её были бесстыдны. «Не торопись, не торопись», – просила она.



Есть секс и есть то, что сейчас у них происходит. Это не секс, это не имеет названия. Он никак не мог найти подходящего слова. В Библии было сказано, что Адам познал Еву, это было понятно, но ещё не то, в Библии вообще он не находил слово «любовь», но «познал» получалось у него единственно близкое, оно включало и другие понятия, но сейчас только это слово было подходящим. В юности любая женщина казалась Антону тайной. Молодая, зрелая – все они были существами другого мира. Вели особую жизнь, в которой было мистическое отношение к губной помаде, каблукам, цвету волос. У Магды было и другое. Он чувствовал, что становится для неё загадкой, что-то она в нём искала, и то, что открывалось, удивляло её.

Другим женщинам Антон подчинялся – охотно, лениво, безучастно, как придётся. Бывали искушённые, фантазировали, входили в раж, а может, изображали. Чтобы доставить ему удовольствие, добивались до оргазма. Здесь же её телом распоряжался он, она лишь угадывала его желания. Ничего не подсказывая. Позвериному урчала. У зверей, у птиц всегда что-то поёт, звучит. Чувства их вырываются наружу. Магда бормотала неразборчивое, Антон, наверное, тоже что-то шептал, но он не слышал себя.

Пробуждение было самым приятным. Ощутить её, прильнуть, узнавая её тело. Ничего лучше этой близости не было. «Не торопись, не торопись», – повторяла Магда.

Радость кружила над ним. Радость не тому, что будет, а тому, что есть. Радость тому, что Магда так хороша.

Он вскочил, замахал руками, приседал, будто делал зарядку. Скорее это была разрядка, ему сейчас было не до Магды, ни до кого, он обнимал свой восторг, не отпускал это мгновение.

Когда-то студентами они читали сочинения Стендаля, Ортега-и-Гассета, Овидия, Толстого и хотели понять, как любовь возникает, как её отличить от увлечения, влюблённости и прочих синонимов. Что это за чувство, которое доводит до отчаяния, до гибели, как молодого Вертера или Анну Каренину. Может, это всё сочиняется великими писателями? Антону больше всего нравилась теория Стендаля о том, что любовь – это процесс, происходит кристаллизация чувств. Большей частью чувство созревает не сразу. Стендаль разбирал все стадии кристаллизации, её варианты так, как будто пишет отчёт о поставленных экспериментах.

С Антоном происходила именно та самая кристаллизация.

Он находил в Магде то, чего в Берлине не замечал. Несмотря ни на что, она увидела в питерцах прежде всего хорошее. Узнав, что она немка, её принимали подчёркнуто приветливо. Россия не злопамятна, это добрая нация, заключила она, когда в Эрмитаже её пригласили в запасники. Показали работы немецких художников XX века, тех, что не выставлялись: Гросса, Дикси, Базелица. Потом её с Антоном пригласил к себе директор Эрмитажа, подарил альбомы музея.

В субботу они поехали в Пушкин. Шли по парку, когда Магда сказала, что через два дня уезжает домой. Уже взяла билет. Ничего не случилось. Пора. Рано или поздно...

Антон знал, что этот момент когда-то наступит. Надолго уезжает? Она не ответила. Промолчала так, что стало ясно – уезжает вообще.

«А как же мы, наши планы? А как же я? Это обязательно?»... – ничего этого он не спросил.

Сказал бесстрастно:

– Жаль. Не думал, что так скоро.

Он говорил так же, как неподалёку гид излагал свой текст в репродуктор.

– Жаль, что не предупредила.

– Зачем? Лучше так.

Ещё она сказала, что летит самолётом. Три часа – и она дома.

Они пошли в Монплеzir. Он показал ей смывную уборную, то, чего в те времена ещё нигде не было. Это придумал Пётр. И ещё это... И это...

Так вот почему она так была напряжена последние дни.

«Уезжая из Парижа, Пётр сказал – город хорош, но воняет. Тогда всюду воняло, даже во дворцах...»

Что случилось, то случилось... Хорошо долго не бывает.

– Пётр – это феномен, – произнесла она. – Я тебе благодарна за всё, нам было хорошо. Как в сказке!

– Сказки кончаются свадьбой.

Она долго не отвечала, потом произнесла:

– Никто не знает, что было потом, после свадьбы.

Она взяла билет на самолёт «Люфтганза». Экономкласс. Поистратилась. Её художник уже улетел, ему надо было в Стокгольм.

Книги она отправила почтой. Теперь счёт пошёл на часы. Осталась сумка. Все тряпки поместились в рюкзак.

С утра поехали по городу, проститься. Ехали медленно по набережной, Каменно-островский проспект, ещё раз она любовалась стилем модерн. Каменный остров был уже густо присыпан разноцветной пахучей листвой. Белые лебеди парами плыли по озеру. Выехали на Приморское шоссе. Где-то в Сестрорецке свернули на берег залива. Залив обдал теплом, скинули обувь, ходили босиком по щекотному песку. Машины теснились между соснами, запахло шашлыками. Народ прибывал, а залив был пуст. Поехали дальше вдоль залива. Тёмная вода поднималась, натянув безукоризненную нить горизонта, на ней стоял Кронштадтский собор.

– Мы провели с тобой две с лишним недели, я уже привыкла и к тебе, и к Питеру, – сказала Магда. – Твой город – это огромная страна. Для меня не меньше России.

Она с удовольствием перебирала их дни. Антон слышал не слова, а её хриловатый голос. Слышал, как тикает Время. Его с детства завораживала тёмная струйка, с которой вытекало Время из песочных часов, Время имело цвет, тяжесть. Песчаный холмик оставался от прошедших минут, каждая песчинка была не похожа на другую. Минуты тоже были разные.

Больше всего Магде понравился Петергоф, старые мастера сумели из воды делать живые фигуры.

Она погладила его руку:

– Не грусти, чего-нибудь придумаем. Мы с тобой прошли только часть дороги. Будешь приезжать. Не обязательно быть вместе, можно бывать вместе. Представь, встретимся в Риге и там побудем два выходных. Поверь мне, так получается ещё лучше, люди не успевают надоесть друг другу. Разлука – это не разруха.

Пожаловалась, что у неё здесь бывают приступы астмы, сырой воздух, этот город труден для астматиков, построен на болоте, суровая зима, а ведь как хорош. Потому что имел смысл. Здесь много поэзии. Она вспомнила Новую Голландию с аркой Деламота, Крюков канал, эти тихие места, где застыло прошлое.

В аэропорт приехали за полтора часа до срока. Так требовалось. Зачем, никто не объяснял: «согласно правил». Сели ждать в ресторане, ресторан назывался «Встреча». Стены были украшены мордами львов,

позолоченные деревянные львы чему-то улыбались. Рейс отложили, тоже никто не объяснял почему. Сидели пили кофе, чашку за чашкой. Гремела музыка, приходилось напрягать голос. Магда морщилась:

– У вас нигде нельзя посидеть в тишине.

После третьей чашки кофе она вспомнила, сколько времени потратила в Петергофе, ожидая экскурсовода, потом на пристани – ожидая катер. В России не ценят ни пассажира, ни клиента.

Она раздражённо постукивала по столу. Антон примирительно кивал. Затем сказал:

– У нас давняя поговорка есть: «Нет ничего хуже, чем ждать и догонять». Уже привыкли. У всех свои болячки.

– А у нас «Время – деньги».

– А я рад, что могу тратить его с тобой.

– В этом прокуренном сарае.

Антон оглянулся. Почему она не печалится, а сердится, ведь это так грустно, твердил он себе. Раньше они могли сидеть молча, просто держась за руки или плечом к плечу, и этого было достаточно, лучше всяких слов. Сейчас молчание становилось тягостным. Здесь все чего-то ждали – встречи, полёта, погоды. Антон вспомнил строчку какого-то поэта: «Нелётная погода поэзии моей».

Вдруг Магда спросила:

– Кто у тебя отец?

Она ничего не знала про его родителей, никогда не расспрашивала. «Зачем мне знать, что было, меня вполне устраивает то, что есть».

Наверное, когда-то его мать и отец переживали своё расставание тоже нелегко. Ему было тогда восемнадцать лет. Почему они разошлись, он так и не узнал. Когда они ссорились, это выглядело нормально, но развод... Мать жаловалась: куда девалась их любовь? Она читала Антону письма молодого отца, его признания в любви. И позже, когда отец настаивал, что она его счастливая находка, что им обоим повезло. Ведь всё было так незыблемо.

– Ничего не случилось, – пояснял отец Антону, – дело в том, что мы израсходовали свои чувства. Так бывает.

Отец не упрекал её, он говорил тогда: «Расходиться надо с благодарностью за счастливые года».

Говорить не хотелось, есть не хотелось, но заказали какой-то салат. Антон попросил прислать работу о Шпее. Когда она закончит.

– Обязательно пришло...

Она наблюдала за ресторанной суетой.

– Да... Жить здесь трудно. Мало удобств и много глупого. Душно, бестолково... Не знаю, как ты справляешься, – поморщилась, пожала плечами. Теперь уже слова ничего не значили.

Слышать такое Антону было неприятно, что-то ощетинилось в нём. Явно оправдывалась. Он погладил её руку, чтобы погасить свой взгляд. Когда-то этого им обоим было достаточно. Вспомнил, как впервые взял руками её груди, как они сразу окрепли. Было несколько моментов ночных и дневных, которые навсегда останутся. Вместе с запахом её кожи и туалетной воды. Что-то останется и от нынешнего прощания.

Память была отдельным существом, она жила внутри по своим законам, неизвестным ему, что-то оставляла, что-то отбрасывала...

Опять попросил её сообщить, когда закончит работу о Шпеере. Пусть прийдёт.

Она повела бровями:

– Зачем?... Может, не надо?

– Не надо так не надо.

Объявили посадку. Антон проводил её до паспортного контроля. Стали в очередь, начали медленно продвигаться к жёлтой черте на полу. Это была граница. Магда протянула в окошечко паспорт. Девушка в окошечке оглядела её, затем паспорт, затем шлёпнула штампом, лязгнула металлическая створка, и всё. Магда очутилась по ту сторону.

Что мне теперь
до участи народа,
Куда придут и чем
закончат век.

С каждым это уже было, сколько раз это уже было, тысячи, миллионы раз.

Она шагала рядом с ним по ту сторону вдоль стеклянной стены. Антон шагал рядом с ней. Она остановилась. Он остановился. Губы её нервно задёргались, она что-то стала говорить быстро-быстро, говорила, наверное, себе, потому что лицо её оставалось холодным. Антон показывал себе на уши:

– Не слышно!

Пытался угадать по губам, не получалось. Она смотрела на него и медленно стала произносить букву за буквой. Антон повторял её артикуляцию, она обрадовалась, кивнула и заплакала. Ещё что-то сказала и пошла на эскалатор.

Он стоял, повторяя губами её движение, ничего не складывалось: «Спасибо», «Прости меня», «Может быть». Получалось лишь то, что он сам хотел.

Сквозь толстое мутное стекло он видел, как она смешалась с толпой. Не обернулась, он уже не существовал.

За их столиком сидели двое, один – тощий, желтоволосый, угрюмый, с депутатским значком, второй – милицкий капитан, багрово набухший.

– Мы здесь сидели, – сказал Антон.

– И что с того? – буркнул депутат.

Подошёл официант:

– Я вас предупреждал.

– Пусть сидят, – сказал Антон.

Капитан покачал головой:

– Добряк.

Антон заказал ещё коньяку и бутерброды на всех.

– Точно, добряк, – сказал капитан.

– Проводили? – сочувственно спросил официант, вытирая стол.

– Мы тоже... – сказал депутат. – В Таиланд! Представляешь? Зачем? Что там с ними будет? У него тоже – дочь. Подружки. – Он кивнул на капитана. – Говорят, там лучше. Чем лучше? Чем им было плохо? С третьего курса смотались.

– Я сам виноват. Французский, английский, готовил я её в Париж учиться, – сказал капитан. – Добра ей хотел.

– Мою сманили. Чтоб их...

Капитан обратился к Антону:

– Идиотки. Лупить их, да опоздал.

– Может, вернуться, – сказал Антон. – Всё же родина...

– Представляешь, Т-а-и-л-а-н-д! Это же дичь собачья! А они туда жить уехали! Мол, там люди по-другому живут, умнее живут. – Он хлопнул ладонью по столу. – Это как, умнее?

Депутат выставил ладонь, успокаивая его:

– Я говорил ей, что люди повсюду живут одинаково, всюду люди болеют, детей плодят, бизнес делают, грабят. Не иначе как сектанты их задурманили. Диплом не защитила, хоть бы корочку она получила.

Танька мне сказала: «Там в людях больше природы». – Капитан направил палец на Антона. – Это разве причина родителей оставить? Уехали бы в Сибирь, на Байкал – я бы понимал.

– Дочь сидит на строгой диете, – сказал депутат. – А там что с ней будет? У неё диабет, понимаешь?

– Куда смотрит наша власть? Закрывать надо выезд, иначе ничего не останется в стране, только мусор останется, вроде нас. Окурки. – Он налил себе, выпил не чокаясь.

– Нет, Костя, не надо закрывать, – сказал депутат. – Ты не понимаешь, демократия – наше достижение.

– А что мне с неё, это бардак, а не демократия! Губят страну, точно тебе говорю! Опустошают либералы, мать вашу.

Депутат стал рассказывать Антону, какая у него дочь, как он её встречал, она в больнице дежурила на практике.

– Репетитора нанимал. Зачем? – спросил капитан. – Ты почему не отвечаешь?

– Вернутся, – сказал Антон. – Разочаруются там и вернутся.

– А чем они разочаруются?

– А я говорю – разочаруются, – повторял Антон, – так бывает.

– Была... страна великая, непобедимая. А теперь нищая. Кругом нехристи!

– Дочь, она навсегда дочь, при любой власти.

– А у тебя кто? – спросил депутат.

Антон посмотрел свой фужер на свет:

– У меня... жена. Это тоже, я вам скажу, лучше не иметь, чем терять.

Он угощал их, они его, все жалели друг друга.

– Жену можно заменить, – уверенно сказал депутат. – Хоть дважды.

Капитан хлопнул ладонью по столу:

– Запретить!

– Чего? – спросил Антон.

– Запретить выезд из России! Что они себе думают? Это же пробоина! Кто останется? Страна покинутых родителей. Границу на

замок! Развели свободы, правители безголовые. К чёртовой матери таких!

Антон несогласно постучал по столу:

– Это ты зря, что же, назад в крепостные?

– Свободы развели... Либералы проклятые. Всё из-за вас. На кого работаете? Ты вообще кто такой? – Он уставился на Антона.

– Не поеду! Да, остался, тесно там, хоть и вместе.

Когда-то Антон месяц пробыл в Израиле и затосковал, не усидел до конца в командировке. Казалось бы, райское место – пляжи, море, милые люди, работа пошла хорошо – чего ещё? А стал ощущать нечто вроде клаустрофобии. Улицы широкие, квартира просторная, хорошие дороги, парки, сады – так нет, ощущаешь тесноту маленькой страны. Исчезло понятие «далеко», пространство съёжилось, поля, луга, чащи – всё небольшое, ничего бескрайнего.

Он попробовал утешить своих собутыльников. Встал с рюмкой в руке:

– Отцы! Это молодость, она хочет увидеть, попробовать небывалое. Не надо ничего запрещать, прошу вас, запреты не помогают, единственное, что у нас с вами есть, – это любовь, она должна и прощать, и понимать.

Депутат, его, кажется, звали Степан, вскочил, обнял Антона:

– Правильно, а что нам остаётся? – И вдруг запел:

Две вечных подруги, любовь и разлука,
Не ходят одна без другой.
Чем дольше живем мы, тем годы короче,
Тем слаще друзей голоса.
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
Глаза бы глядели в глаза...

Подбежал официант:

– Нельзя. Граждане, нельзя так.

– Можно-можно, – сказал милицейский капитан, – это, брат, святое! Соседние столики заплодировали. Депутат преобразился, запел громче.

Капитан сказал Антону:

– Подругу ты найдёшь, а другой дочери у меня не будет.

– Даже не поцеловала, – сказал Антон, – перешагнула, как канаву.

– Моя расцеловала. Ну и что? Фуражку сняла, по голове погладила – так ведь ещё хуже стало.

– Куда твоя уехала? – спросил капитан.

– В Германию.

– Это понятно, это всё-таки не Азия.

– У меня в подъезде ей воняет! Кошки! Ну и что? А Петербургом она любовалась, нахваливала. Я вас спрашиваю: что важнее? А теперь я кто? Палочка улетела. Остался нуль.

Посетителей то убывало, то прибывало, радио объявляло о прибытиях, посадках. Капитан доказывал, что в СССР был социализм, была страна справедливая. Депутат возражал:

– Какая может быть справедливость, если были невыездные.

– Стали выездные, вот и хлебаем. Для кого учим детей? Я спрашиваю: для буржуев?

– Кажется, я поплыл, – сказал Антон и пошёл от столика к столику. – Увозят наших людей, тех, кто назначен здесь жить. Вот и она... А, господа, ведь грех жаловаться – две недели счастья, это вам не жук на палочке.

Его подхватили под руки капитан и депутат, втроём они шли по залу, и от них не отмахивались, сочувствовали, предлагали угощение.

Депутат уговаривал капитана:

– Наша судьба с тобой ещё не дописана, глядишь, опять всё повернётся вверх тормашками, мы всё время кувыркаемся.

– Ты что имеешь в виду? – глухо спросил капитан.

– А то, что нам не дано предугадать, как сказал поэт. В России только поэты понимали, а власть наша сама не понимает, что хочет. Куда они нас ведут, куда?

Антон открыл глаза, долго смотрел в потолок, потолок был вроде знакомый, с жёлтым пятном в левом углу. С трудом повернул голову. Пиджак висел на стуле. На полу стояли туфли. Он лежал на диване, ремень расстёгнут, полураздетый. Попробовал сесть. Он был дома, уже было светло. Как он попал домой, понятия не имел. Последнее, что помнил, как ехал в милицейской машине.

Он встал, постоял, покачиваясь, добрался до стола, там лежали две визитки. Одна – капитана милиции Заварухина, другая – депутата

Степана Василенко. На депутатской было написано: «Ключи на кухне!» Телефон депутата был подчёркнут.

Позвонил депутату. Тот прервал его благодарности:

– Очухался? Молодцом. Мы адрес долго уточняли по паспорту. Милиционеру приказали посматривать за квартирой. Ну как ты?

Антон глубоко вздохнул:

Пред жгучей жаждой опохмелки
Все остальные чувства мелки.

– Вот это поэзия, – обрадовался депутат. – Хочешь, мы приедем привезём тебе средство?

– Ни за что, – сказал Антон.

Он подошёл к окну, открыл форточку, постоял, улыбаясь. У подъезда стояла милицейская машина.

– Всё зарастёт, – сказал он себе, – потому что всё зарастает.

Затем ему пришла в голову ещё одна мысль.

«Люди ведь чаще расстаются, чем остаются. Что, собственно, произошло? – спросил он непонятно кого. – Ничего не произошло, приехала и уехала. Они всегда так поступают».

Долго молчал. Потом сказал обиженно:

– А как она мне ответила? Сказала: «Зачем? Зачем буду тебе писать? Зачем?»

И что-то ещё, что нет смысла или не стоит – никак не мог вспомнить. Что ему приспичило вспоминать, забыл и забыл. Он выматерился, на этот раз со злостью.

– Ладно, обойдётся.

Хочешь не хочешь, всё равно останется память о счастливой поре их жизни, они её не упустили – и в Германии, и в России. У него ничего подобного не было. Этих воспоминаний ему хватит на всю жизнь. Может, оно и к лучшему. Неизвестно, как сложилось бы, если бы они остались вместе. Может, судьба отпустила им порцию достаточную, и за это спасибо. А то, что они должны были разойтись, – это было неодолимо, он не мог уехать, она не могла остаться. Ей кажется, что в России ещё слишком много памяти о войне. Не понимает. Они в Германии стараются забыть её, остались вдовы, сироты. Она увидела коммуналки, эти бесчеловечные остатки советского быта, увидела бедность, питерские рынки, грязь,

запущенность, облупленные дома, немытые окна, хмурые лица. «Как мало у вас улыбок, – повторяла она, – почему все такие раздражённые?»

А на Пискаревском кладбище стояла перед могилами, на которых лежали конфеты, пачки сигарет, сухари (это вместо цветов и венков), увидела и зарыдала.

А в Петергофе её не переставали восхищать фонтаны, роскошь и красота этого пригорода. Петергоф, заявила она, это нисколько не хуже Версаля, здесь она чувствовала себя больше русской, чем немкой. Петергоф она присвоила себе, заявила, что отдаёт взамен Потсдам вместе с Фридрихом-Вильгельмом.

Побывала в больнице, там расстроила её бедность, больные лежали в коридоре, не хватало мест, простыней, лекарств.

Восторги, жалость, удивление – всё открывалось ей вперемешку. Много хамства, плохие сосиски, дивная архитектура модерн, но перевешивали и плохое, и хорошее минуты их счастья. Станные, несвойственные ему, когда они молча сидели, взявшись за руки, и это было достаточно. Вселенские часы останавливались.

«Кто знает, как сложилась бы их жизнь, если бы они остались вместе», – как-то заметил Арсений.

Она не сразу распознала прелесть их молчаливой близости. Потом научилась выключаться и отпускать свои мысли на свободу.

Её отличала самоуверенность. «Демон таланта» – так будет называться её книга о Шпеере. Книга станет сенсацией, она заставит всех задуматься о силах зла, о том поединке, который проходит у зла с талантом, а то и у гения. Она попробует вступить в дискуссию с «Фаустом» Гёте. Она критиковала Толстого, она терпеть не могла Достоевского.

Она не хотела жить в России, он не хотел в Германии, почему он не хотел, она не понимала, ведь его возмущает всё то, что происходит здесь с энергетикой. В России догоняют Запад, никак не решаются перегнать.

Через фирму «Сименс» она могла устроить ему хорошую работу в Германии, он не соглашался. «В гостях хорошо, а дома лучше», чем лучше, она не понимала.

Чужая? Она плакала на Пискаревке, в аэропорту чужие не плачут,
чужие не прирастают.



* * *

Посреди ночи он проснулся. Кто-то звал его. Громко: «Тоша, Тоша...» Так явственно, что он поднялся, босиком пошёл по квартире. Проверил входную дверь. Ночная тишина была плотной, закладывала уши. Он включил приёмник. Передавали музыку, кажется, Моцарта. Моцарт был его друг, дружище. Лучшее средство от одиночества.

Звучал голос укоризненно... Что это означало? Он никак не мог заснуть, думал, за что могла бы винить его, вроде ведь не за что. Лежал и перебирал в памяти то, что было у них. Началось уже на обеде, тогда, у Сименсов, и стало потом быстро расти. Он не объяснялся, ни разу не признавался ей в своих чувствах. Полагал, что и так всё понятно, слова ни к чему, они беднее, словами ничего не выразить... Ну и дурак. На самом деле женщине это необходимо. Ей нужно именно услышать. Подтвердить всё, что ей почудилось, что она вообразила. Да, влюбился – но как? Пусть расскажет. Как это он не понимал, что нужны стихи, признания, это для неё остаётся навсегда – смущение, шёпот, письма. Она хочет это слышать не раз, не два, надо, чтобы он рассказывал, повторял, волновался, невнятно бормотал. Для любви ничего нет слаще этих минут. Как это он упустил? Тогда, после Рейхстага они зашли в кабачок, помнится, назывался он «Последняя инстанция», он мог сказать: «Ты моя инстанция. Навсегда!» Что он её любит, встать перед ней на колени. Испугался – вдруг она хмыкнет и спросит: «Ну и что, что дальше?» или: «Испачкаешь брюки», а то что-нибудь и вовсе убийственное: «А где цветы?» За всё это время он ни разу не преподнёс ей цветы, ничего не преподнёс – ни духи, ни какую-нибудь брошку. В голову не приходило. Чурбан. Свинья. Потому что никогда никому из своих баб ничего не дарил? Только если просили. Откуда в нём такое невежество? «Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь» – вот чего требовала самая что ни на есть простая, деревенская этика. Без всякого Стендаля, без теории любви. Она могла оценить это как бездуховность, скупость. Но прощала. Стыдоба какая. Думал о том, что теперь это уже не поправить. Ни разу не сказал, как она осветила ему жизнь, ни разу они вместе не летели к Луне. Ни разу не рассказывал, какие у неё удивительные глаза и как она запрокидывает голову, что она королева и может его помиловать, а может вообще отвергнуть и казнить.

Москва готовила международный форум энергетиков. Антона ввели в оргкомитет. Тотчас вызвали в Москву на заседание,

разумеется, срочное. «Красная стрела», министерство.

В Москве уже кончалась осень, сухая, оранжевая. Встретил его Семён Лавриков с министерской машиной, один из помощников министра. Он должен был отправиться вместо Антона в Берлин. Расспросил, где, в каком отеле лучше остановиться, где столоваться, был человеком практичным, карьерным, говорил не стесняясь: «А что мне остаётся, если у меня нет таланта». Немецкий знал плохо, ему обещали передать переводчицу Антона, то есть Магду. Это было неприятно. Берлинская командировка Семёна устраивала, он хотел там задержаться подольше, так что пусть Антон не рассчитывает на возвращение.

Форум решили проводить в Питере, пригласить иностранцев из тех стран, где есть зелёная энергетика, гелиоэнергетика, где стоят ветряки. Всё то, что недавно считалось энергетикой будущего.

Тема форума обрадовала Антона. Они давно боролись за малые ГЭС. Солнце, ветер, вода были дарами благословенными, предназначенными человеку самой природой. Ничего враждебного. Возобновляемые естественные составляющие жизни всего живого на земле, их вдруг признали как находку.

Антону поручили готовить секцию малых гидростанций, то, что он любил, сельские мельницы, маленькие ГЭС были ещё с царских времён. В Питере он погрузился в хлопоты, переговоры, согласования. Работал с удовольствием, дни были плотно заполнены, мешая вспоминать Берлин и скучать. Приходил – валился в кровать, спал без сновидений. С Магдой перезванивался, но телефонный разговор получался пустым.

Проводить форум решили через два месяца. Надо подготовиться докладчикам, пригласить иностранных гостей, у тех всё расписывается чуть ли не за квартал вперёд.

Он стал готовиться к своему выступлению и наткнулся на свой отчёт студенческих лет. Тогда он собирал материал для диплома и получил командировку на стройку Куйбышевской ГЭС. Город назывался Ставрополь. Его уже нет. Есть верхний бьеф. Ставрополь на дне водохранилища. Ставрополь был старинный город, кажется, ему было триста лет. Его затопили. Новый город вместо него называли почему-то Тольятти. Антона поселили в Доме крестьянина. Подселили. Попросил Олег Сучков, приятель отца. Олег был археолог,

работал в котловане ГЭС. Извлекал остатки древних селений. Он и сам был из прежних времён – длинные седеющие волосы, голос проповедника, не пиджак, а сюртук царского периода, и голос, голос не годный для гнева и крика.

Стройка ГЭС захватила Ставрополь, завалила набережные брёвнами, контейнерами, кирпичами. Повсюду двигались огромные самосвалы, тягачи, краны. Всё это лязгало, рычало, нещадно дымило, занимало все улицы, теснилось в деревянных переулках. Размах стройки возбуждал Антона, ничего подобного он не видел. Стройка раскинулась по обоим берегам Волги. Реку заполнили баржи. Небольшие пляжи бесцеремонно завалили стройматериалами. Бараки, палатки, жилые бытовки. Антон носился от стройки шлюзов к подстанциям и дальше – к лесопилкам, стройке бетонного завода. Фотографировал, обмерял площадки для распредустройства. Улицы пестрели плакатами. Кумачовые полотнища призывали: «Досрочно!», «Сдадим ко Дню Победы!».

Вечером, усталые, оглохшие, они с Олегом мылись в круглосуточной бане, ужинали в рабочей столовке, Антон шёл проявлять снимки.

Сердцевиной стройки для Олега был котлован. Кратер космических размеров кишел. Сеть дорог в глубине клубилась сизым дымом выхлопов. Стоя на смотровой площадке, Антон видел крохотные фигурки людей. Антону захотелось спуститься туда. Не тут-то было. Котлован не входил в программу его командировки. Хлопоты ни к чему не приводили. Помог Олег. Они вдвоём добрались до полковника из спецотдела. Тот хмуро допрашивал Антона – зачем, да что за диплом. Объяснил, что идти надо с охраной. Дали двух солдат с автоматами. «Так положено, там работают зэки».

Спустились вниз по шатким деревянным лестницам. Эта часть котлована с террасой была неглубока, стены блестели от липкой красной глины. Мимо них по деревянному настилу взад и вперёд зэки катили гружёные тачки. Землю сваливали на площадку, там её подбирали малые экскаваторы, грузили на самосвалы.

Они забрались на помост. Олег разговаривал с мастером, Антон разглядывал зэков. Шли с тачками в одинаковых чёрных штанах, в заляпанных глиной ватниках, в резиновых сапогах. Их облик имел какую-то странность. Антон понял не сразу. Это были косынки, у кого-

то повязана голова, у других горло, были с серёжками. Это всё были женщины. Одни шли туда, другие обратно, скрипели тачки гружёные и пустые.

– Это что? – спросил Антон у сержанта.

– Это мамочки-дамочки.

Дощатые дороги гнулись под тачками. Женщины подымали головы, смотрели на Антона, кто хмуро, кто посылал ему подмиг. И вдруг раздался крик: «Тоша! Тоша!»

К нему рванулась женщина, повязанная грязно-белым платком. Кричала испуганно, он не сразу сообразил, что она рвётся к нему, это в школе его так звали, давным-давно: «Тоша».

Он спрыгнул с помоста к ней. Она оставила тачку, распахнула руки в рукавицах, потом сорвала их. Сержант опередил её, оттолкнул, встал между ней и Антоном:

– Назад, сука, запрещено!

Антон успел прокричать:

– Будьте любезны, это моя одноклассница!

Его учтивость огорошила.

– Надо иметь спецразрешение, – сказал сержант и наставил на него автомат.

Боже мой, это была Вика Коган! Он узнал её не сразу в этом измученном, истощённом, бледном существе, неужели это она – Вика? Что-то, конечно, осталось от прежней Вики – той, что сидела в классе впереди него, – длинная коса. У каждого от детства остаётся своё зёрнышко. Что бы с ними ни делали. Вика была старостой их класса. Сейчас и звать никак. Торчал её остов, серый, бесцветный остов прежней девочки. Облетевшее дерево, еле знакомый силуэт. Ещё было сомнение, он вспомнил, что она поступила в университет на исторический, какой-то у них был кружок, и потом слух, что их разогнали, арестовали – всё невнятно, глухо.

– Неужели это ты, Тоша? – повторяла она и всё тянулась, хотела обнять его.

Как её разрушило, у неё не было передних зубов, она быстро-быстро шепелявила, спрашивала, как её дело, дошли ли её ходатайства или нет?

И тут же по его лицу видела, что он ничего не знает, поняла, он здесь – это случайность.

Солдаты переглянулись между собой, попросили Антона отойти. Сержант крепко взял его под руку, отвёл в сторону и сказал:

– Общение возможно только на свидании.

Антон вынул пачку беломора, протянул сержанту. Сержант взял, и они с солдатом стали прикуривать. Антон сказал Вике:

– Говорят, что могут объявить амнистию.

– Ещё папиросы у тебя есть? – спросила она.

– Нет. – Антон мотнул головой на солдат. – Как твоё здоровье?

Она посмотрела на него и сказала:

– Его больше нет.

Сержант крикнул:

– Хватит!

Солдат повёл её к тачке. На выходе из зоны сержант спросил у Антона:

– Кто она вам?

– Учились вместе в школе.

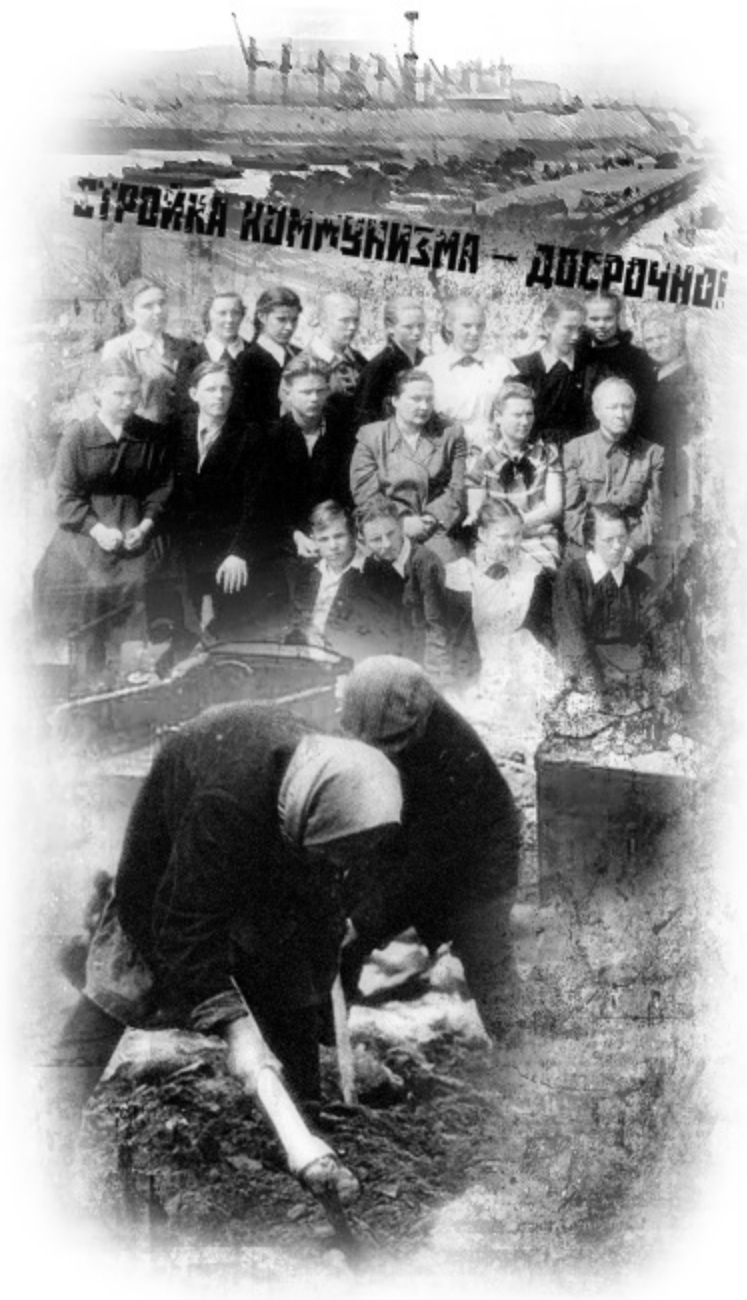
Сержант кивнул, потом сказал:

– Не похоже. Другой возраст... Я должен доложить офицеру.

– Давай-давай, премию получишь.

– Это вы напрасно.

Возвращались, пробираясь между штабелями мешков, ящиков, контейнеров. У бетонозавода шёл митинг под большим красным полотнищем: «БЕТОНСТРОЙКА КОММУНИЗМА – ДОСРОЧНО!»



* * *

Вечером у них с Олегом произошёл разговор по поводу зэков. Антон удивлялся — это же великая стройка, гордость страны, как же можно доверять её зэкам?

– А что делать, – ответил Олег. И объяснил, что рабочей силы не хватает, вербуют, а они не идут, тогда разверстали по областям и обязали. В областях стали арестовывать, заводить дела, теперь дают сроки и посылают на стройки, иначе никак не получается. Они ещё долго спорили, обсуждали. Антон сказал:

– Вот такой коммунизм мы и получим. Тюремный.

– А какой тебе нужен? – спросил Олег. – Ты знаешь вообще, что это такое?

– Утопия?

– Хуже. Сказка для недорослей. Придумали: «Каждому по потребностям»! Мечта бездельников и тунеядцев. У бездельника нет способностей, у него только потребности, вот лучший пропагандист коммунизма, его ревнитель.

Он не щадил ни Маркса, ни бесчисленную ораву советских философов.

– Чем мы богаты, так это проповедниками светлого будущего. В котловане их не видно.

В тот год пришло письмо с поздравлением от Бориса Ковалёва, бригадира экскаваторщиков. Он вспоминал, как Антон помогал им рассчитывать новый ковш экскаватора. Это была их придумка. Глина налипала на стенки ковша, уменьшала объём зачерпнутого грунта, время от времени приходилось счищать налипшее, работа останавливалась, и так было у каждого экскаватора. Борис думал-думал и придумал сделать стенки наклонные, так чтобы глина отваливалась при повороте ковша. Надо было рассчитать и объёмы, и прочность, и новую конструкцию ковша. Антон им тогда немного помог. Идею приняли, сконструировали новый ковш, он выдержал испытания и значительно ускорил работы. Бригаду премировали, Ковалёва особенно выделили. Теперь осталось самое трудное: надо было договориться с заводом-изготовителем, чтобы новый ковш с наклонными стенками запустить в производство. Борис жаловался Антону, что в конструкторском бюро завода встретили их предложение в штыки, нашли всякие недоработки, заявили, что это потребует перестройки производства, словом, объявили предложение интересным, но требующим доработки.

Письмо было длинное, с рассказом о его личных планах, он хотел поступать в заочный институт, хотел приехать в Питер.

В число премированных включили Антона. К письму было приложено удостоверение рационализатора.

Перед отъездом со стройки у Антона был с ним разговор о зэках. Антон спросил, знает ли он, что в зоне шлюзов работают зэки и там есть участок для женщин. Он встретил его рассказ равнодушно. Знал про зэков, и все в бригаде знали, но не считали нужным обсуждать это, и вообще это их не касалось. Это дело начальства. Работают, значит, так и надо. Раз они заключённые, значит, в чём-то провинились. От этого разговора осталась горечь. Замечательный парень, энтузиаст, личность творческая – и всё это никак не сочетается с тем равнодушием, с каким он оправдывает труд заключённых на стройке. Для него стройка ГЭС – это, несомненно, стройка коммунизма. Он и в коммунизм верил. И в справедливость репрессий. И в то, что всё идёт как надо, лучше быть не может.

Зэки – зэками, а как он, Антон, тогда гордился, что стал участником стройки коммунизма.

Как-то он рассказал про это Арсению.

– Я его понимаю, не хочется думать про это, – ответил Арсений, – мне тоже не хочется. И знаешь, тем людям в ресторане, которые танцевали, им тоже не хотелось думать, под какой текст они танцуют.

Антон не отступался, хотел добиться от него ответа.

– Если действительно на стройке не хватало рабочей силы? – спросил Арсений. – И на других стройках? Откуда их было брать? Использовать арестованных, получивших срок? Использовали. Всё равно не хватало. Стали арестовывать, чтобы продолжать строить коммунизм. И станет это нашим достижением. В войну за ценой не стояли. Сейчас тем более.

На форуме энергетиков Антон руководил секцией малых ГЭС. Два дня на секции шла горячая дискуссия. Спорили, экономику возобновляемой энергетики каждый поворачивал по-своему. Площади, занимаемые ветряками, учитывать? Каковы стоимости солнечных батарей? Их КПД?

Антону полагалось подвести итоги. Он не стал определять, кто не прав. На самом деле существовали указания свыше, о них упоминать не полагалось. Выйдя на трибуну, он ощутил устремленное к нему ожидание и не стал уклоняться. Начал с того, о чём говорят не в

микрофон, а друг другу, не на заседании, а в перерывах. О самом больном, о том, почему у нас малая энергетика стала пасынком, почему её разрушили и к чему это привело. Волга умирает, зато появился Волжский каскад. Чего нам мелочиться, если мы можем создавать новые моря.

В зале в первом ряду сидел Арсений, и Антон стал обращаться к нему, так было легче.

– ...Пейзаж Европы украшен множеством ветряков, они заняли законное место в энергосбережении, а наше министерство смирилось с ликвидацией сельских ветряных станций, так же как малых ГЭС.

Он стал приводить цифры: десять тысяч ГЭС за последние годы ликвидированы, разрушены. Треть страны лишилась надёжного электроснабжения.

Арсений сидел рядом с иностранными гостями-энергетиками из Швеции, Норвегии, Германии... Антон подумал: «Пусть всё идёт, как идёт».

Вслух сказал:

– Судьба наделила Россию неисчерпаемыми источниками энергии. Ветер, вода и солнце. Их не надо добывать, их можно брать. Европа за последние годы в десять раз увеличила мощность ветростанций. А мы всё уверенней отстаём. И солнца нам, энергетикам, не нужно. И малые реки, вот Волгу изничтожить – это с охотой.

Кто-то заплодировал, зал всё смелее подхватил.

В фойе его окружили корреспонденты, фотографы. Издали он увидел Арсения с какой-то женщиной. Они подошли к нему.

– Молодец! – сказал Арсений. – Необычно и по делу.

– Замечательные факты, – сказала женщина, – наперекор всем начальственным установкам.

Арсений познакомил их:

– Антон Чагин – талантлив, образован, не женат... Елизавета – известный журналист, беспощадна к слабакам, слишком умна, слишком остра, но в сумме настоящий друг. Вроде меня.

На вид ей было под тридцать. Наверное, из-за очков. По спортивной фигуре моложе. Черты жёсткие, строгие, неуместные ямочки на щеках.

– Пользуется успехом, – добавил Арсений.

– Хватит, – оборвала его Елизавета. – Антон, у вас есть текст?

– Нет. Зачем он мне?

– Жаль. Кое-что я записала. Не всё. Не ожидала. Отличная может получиться статья. Она прозвучит.

– Это мне не с руки.

– Лиза, возьми сама, – сказал Арсений.

– Я с удовольствием вам помогу, – пообещала Елизавета. – К этой теме есть общий интерес.

Предупредила, что смягчать не будет. Говорила уже так, будто он согласился. Она набросает черновик, даст ему на поправки.

Через два дня Лиза привезла ему «рыбу». Встретились в баре напротив КБ. Антон читал, удивляясь, сколько он наговорил и как складно. Упор в статье был на плохое качество электроэнергии, низкое напряжение, колебания частоты, аварийность, главное возмущение вызывало то, что треть страны вообще сидит без света. План ГОЭЛРО не выполнен. Несмотря на это, ликвидировали малые ГЭС. Ликвидацию проводили активно, как до этого ликвидировали кулачество. Всю вину автор возлагал на Хрущёва.

Вот тут Антон возмутился, с ходу вычеркнул этот кусок. Хрущёву теперь приписывают расправу с народными лекарями, архитектурными излишествами, кукурузную принуду. Чего только не навешивают на него. Для Антона все грехи Хрущёва были ничто перед уничтожением культа Сталина. Да и это мало значило перед реабилитацией невинно репрессированных. Сотни тысяч людей, обречённых на лагерное угасание, были спасены. В истории России не было подобной амнистии. Дядька Антона вернулся живым.

Антон ещё раз прочёл. Вместо выступления получилась статья – короче, энергичнее. Но много слов было чужих, не его. Лизавета ткнулась в «Интерфакс» – сказали: «Надо подождать, сейчас не время». Центральные газеты тоже не взяли.

– Это не поражение, – объяснила она, – мы их добьём. У них всё время «не тот момент».

Лизавета уцепилась за факты, которые он приводил. Неужели это правда, что две трети территории страны сидят без электричества и ничего не делается?

У неё родители жили на Псковщине, в посёлке бывшего совхоза, там то и дело отключали электричество. Антон сказал ей, что по международным нормам отключать можно на 8—10 часов в год, это в

сумме. А у нас получается в сумме 100 и более часов. Лизавету возмущало более всего то, что люди смирились и живут не протестуя, позволяя с собой так обращаться. При таком электроснабжении невозможно существовать ни птицефабрикам, ни коровникам. «Ничего-ничего, зато мы построим Куйбышевскую ГЭС, Братскую, Саяно-Шушенскую – величайшие в Европе» – вот чем гордились чиновники. Они создавали новые моря, они сооружали линии передач напряжением полмиллиона вольт, и всё покрывалось лозунгом «Мы строим социализм».

– Не люблю я нашу власть, – заявила Лиза. – Бездушные они и бездуховные.

Главный редактор молодежной газеты, где Елизавета работала, статью вернул, Елизавету отчитал, неужели она не заметила выпадов против государственной политики в энергетике. Пусть специалисты между собой разбираются. Лиза уговорила его принять автора.

Она снабдила Антона набором цветных фотографий ветряков, гелиобатарей, взятых из заграничных каталогов. Главный редактор смотрел, прищёлкивая языком. «Красиво», – согласился он.

– Заходи через три года, не раньше, – предложил он.

Всё же Елизавете удалось всучить очерк маленькому журналу в Карелии.

Она предложила отметить это событие на лыжах. «Выступление его отныне существует! – торжественно объявила она. – И навсегда!»

Как-то, роаясь в своих бумагах, Антон нашёл школьную выпускную фотографию, десятый класс. Все нарядные, белые рубашки, у девочек причёски. В центре учителя сидят, среди них усадили старосту Вику Коган – тощая косичка, глаза строгие. Нашёл и себя, щекастого, растрёпанного. Последнее общее фото. Ещё денёк – и разлетятся кто куда. Рядом с ним стоял Рувим, печальный ушастик. От Антона мало что осталось. Удивительно, что в котловане Вика узнала его. Вроде он был выше ростом и глаза побольше.

Когда он показал фотографию Рувиму, тот не сразу нашёл Вику, да и себя не сразу. Поводил пальцем по юному своему лицу, словно хотел согнать печаль.

– Он тебя тоже не узнает, – сказал Антон. – Где твоя шевелюра? Где твои голубые глазки? Господи, какими мы стали.

- Какими?
- Плохими.
- Почему мы не становимся лучше? – сказал Рувим.
- Потому что мы продукты, а продукты портятся.

Рувим обвёл кружком Вику. Когда Магда, приехав в Питер, пришла к Антону, снимок стоял за стеклом в шкафу. Она стала искать среди этих птенцов своего, и вот что поразило Антона – нашла! Заявила, что там на фото он самый привлекательный.

- А это кто? – ткнула в обведённую кружком.
- Староста наша.

Что-то в его голосе прозвучало.

- Кто она нынче?

Антон не удержался:

- Строит нам коммунизм.
- Как это?
- Без подробностей.

Рувима она опять спросила про старосту класса, Вику. Рувим, не стесняясь, выложил всё, как есть. Магда спросила: уверены ли они, что она не виновата?

– Мне это не важно, они не имеют права так обращаться с женщинами. – Рувим ответил резко, отвернувшись.

* * *

В начале февраля заснежило, навалило сугробы пушистого снега, дни стояли солнечные, не таяло. Отметить статью Лиза решила за городом, в субботу, на лыжах. Не надо брать с собой ни лыж, ни ботинок, всё есть на лыжной базе корабелов в Комарове.

В Комарове было много солнца, безветренно. Поехали на сопки. Деревья стояли притихшие, оторопев от навалившейся на них снежной тяжести. Некоторые ещё удерживали листву. Когда-то Антон занимался слаломом, кое-что еще помнилось. Лиза крутила на крутых склонах лучше его. Щучье озеро ещё не замёрзло. Зима чувствовала себя робко. Лиза тоже держалась смущённо. Привыкала не то к зиме, не то к их редкому общению.

У раскидистой чёрной берёзы постояли рядом, ствол берёзы был тёплым, блестела ярко-белая тишина. Антон слышал, как дышит Лиза.

Стоял долгую минуту, чувствуя, что Лиза ждёт, он обнял её, поцеловал, ощутил, как она ответила телом. После этого они замерли.

Лиза прислушалась:

– Шипит?

Со всех сторон слышался шёпот. Они поняли, когда на них рядом, с ели, обрушился снежный пласт. Ветра не было, хвоя не промёрзла, снег сползал, падал, ветви распрямлялись. Лизу обсыпало снегом – лицо, брови, она жмурилась, не отряхивая снег.

Ничего не происходило, опять медленно, сверху, сползал с берёзы толстый пласт снега, они знали, что он сейчас рухнет на них, и не трогались с места. И он действительно рухнул, обсыпал их, и они засмеялись от удовольствия.

Лучше было отнести поцелуй к благодарности за прогулку. Для него это ничего не значило.

Настороженно спросил себя: «А зачем это мне?» Давно ему не было так спокойно, точно свалилась тяжкая ноша, как тот снежный пласт, и можно было распрямиться, как ветвь чёрной берёзы. Он мысленно улыбнулся своему возвращению.

Вышли на просёлок, он привел их к поляне, где стоял большой жёлтый дом с колоннами.

– А-а, вот и он, – сказала Лиза. – Зайдём.

Сняли лыжи, обмели ноги. На дверях была синяя вывеска: «Лыжная база», ниже – номер почтового ящика. Лиза нажала на кнопку звонка, показала дежурной свою красную корочку. Вошли в тепло небольшой приёмной.

Появилась дама в меховых сапогах, с высокой причёской.

– Здравствуйте. Нам, пожалуйста, два кофе, – сказала Лиза.

Дама оглядела их:

– У нас тут не ресторан. Вы, собственно, кто?

– Меня Серёжа давно приглашал, – сказала Лиза.

– Какой Серёжа?

– Сергей Мигунов.

– Сын Виктора Сергеевича? – Дама расцвела. – Тогда конечно, тогда другое дело.

Их пригласили в гостиную, устланную коврами. Там был бар, стойка из чёрного дерева, горел камин, обложенный диким камнем.

– Серёжа – он кто? – спросил Антон.

– Знакомый. – Лиза протянула руки к огню в камине. Добавила: – Поклонник.

– А кроме того? – спросил без любопытства. Понимал, что следует расспросить, проявить интерес.

– Будущий дипломат, – сообщила она. – Хорош собой и папашей. Папаша шишка.

– Ну и как у вас? Продвигается?

– Погулять ещё надо. Пока не спохватились. – Она подмигнула Антону.

Антон кивнул благосклонно. Лиза перечислила:

– Играет в гольф. Готовит диссертацию. Изучает испанский. Блестящее будущее.

– У тебя шансы есть?

– Шансы не только у меня, есть ещё шансонетки. Идёт охота.

– Хочешь победить?

– Он хороший любовник, а как муж... много о себе думает. Но и упустить обидно. Лишиться шикарной жизни.

Брачная тема женщин всегда волнует: помолвка, свадьба, развод.

– А вы? – спросила Лиза явно из вежливости.

– Дела давно минувших дней.

– Любит ваш брат темнить.

Он подумал: вот есть жених, а позволяет себе, но тут же уличил себя, ведь и он тоже позволяет.

Один партийный босс с подачи Арсения попросил Антона обработать материалы для диссертации. Формула эта, грубо говоря, означала сколотить ему диссертацию. Ему необходимо было остепениться. «Это нормально, – увещевал Арсений. —

Готовят речи даже президентам». Материалы «надыбал» один архивист. Должно вроде хватить. Босс предложил Антону сумму, которая исключала нравственные проблемы, как выразился Арсений.

Материалы заинтересовали самого Антона. Они касались тридцатых годов, тогда шла работа над планом ГОЭЛРО. Его создавали крупнейшие энергетики России. Михаил Шателен, профессора Горев, Графтио, Круг. Имена легендарные. На кафедре ещё сохраняли кабинет Шателена. Там висели портреты авторов первых ГЭС страны. Многие из них в 1930 году были арестованы по делу «Промпартии». Их обвиняли в шпионаже и во вредительстве. Это был, пожалуй, первый большой процесс такого рода. Наибольшее впечатление на Антона произвело загадочное поведение руководителя «Промпартии» профессора Леонида Рамзина. На портрете был молодой красавец, аристократ, с чуть высокомерной физиономией. На процессе он не отпирался: да, создал тайное правительство, да, вредители, шпионы. Часть обвиняемых расстреляли, часть получили сроки. Самого Рамзина отправили в шарашку. Он считался выдающимся теплотехником. Это он создал новинку – прямоточный котёл. Было странно, что его пощадили, затем выпустили, а затем, к всеобщему удивлению, стали награждать. Талант его расцветал. Сталинская премия первой степени, ордена, должности, одна за другой. Выдвинули в Академию наук, но тут сорвалось. Академия единодушно забаллотировала его. Проявила, к удовольствию Антона, свою независимость. Видимо, Академия не желала иметь в своём составе провокаторов, да ещё сталинских любимцев. Ещё сохранялась некая щепетильность, нравственные требования не рухнули. Антон не понимал, ведь Сталин не мог оценить преимущества прямоточных котлов, тут было что-то другое.

Что именно, историк бы выявил, но Антон так и оставил этот вопрос открытым, для интриги.

Заказчик был доволен, Антону хотелось самому опубликовать свою работу, но, как говорится, уговор дороже денег.

Ему нравились истории изобретателей, приключения мысли, драмы идей. Он поразился, узнав, что его профессор Лосев считает одним из самых успешных русских учёных Сергея Лебедева, того, что изобрёл синтетический каучук.

* * *

Они пришли сюда незадолго до её отъезда. Старинный Сампсониевский собор, построенный в память Полтавской победы.

Магда стала обходить приделы. Постояла перед иконостасом. Осматривала икону за иконой.

Антон пошёл купить свечку, поставить в память о матери. Когда вернулся, Магды не нашёл. Отыскал её в правом приделе. Она молилась. Кланялась опять и опять перед какой-то иконой, говорила, говорила. Он разобрал только: «...Ну, помоги, подскажи...» Лицо её было мокрым от слёз. О чём она молилась? Он ждал. Она обернулась к нему, стала руками вытирать лицо, улыбнулась виновато.

На улице он всё же не утерпел, спросил. Она затрясла головой, чтобы молчал. «Не хочу... Не хочу», – повторяла сдавленно. Видно, боялась разрыдаться. Ходьба немного успокоила её.

Получив премию, Антон, как положено, устроил мальчишник. Нынче втроём. Это было всё, что имелось в наличии. Мальчишник состоял из школьных друзей, это самое прочное, что остаётся навсегда. Сидели Антон, Арсений Балаян, Рувим Гринберг. Собрались у Гринбергов. Его Броня наготовила им винегрет, голубцы, каждый принёс спиртное, было ещё виски.

Прощались с прошедшим годом, строили планы. Антон мечтал наконец закончить свою работу над устойчивостью. Когда-то профессор Лосев привлёк его к созданию регулятора частоты. Вскоре это надоело, тем более что энергетики считали эту проблему академической. Да и заработок не устраивал, он ушёл в «Гидропроект». Однако проблема поселилась в нём, не давала покоя. Появился вариант регулятора многообещающий.

– Откладывал-откладывал, а теперь доконаю! – объявил он с торжеством.

– Что-то похожее было уже в прошлом году, – напомнил Арсений. – Обычные новогодние мечтания.

– Хочу заняться личной жизнью, – объявил Антон, – лыжи, филармония. Стоят собрания сочинений Диккенса, Гончарова, никак не доберусь до них. Начну читать – думаю, нет, это не срочно, надо заняться делом, как будто это не дело. Сяду работать – думаю, а ведь мечтал ходить в бассейн.

– Я ставлю себе маленькие цели, – сказал Рувим. – Удалось ликвидировать помойку возле двенадцатой больницы – я доволен. Теперь возьмусь за свалку в Шувалове.

– А я вообще не собираюсь вкалывать на эту власть, – сказал Арсений. – Они стараются только для себя, любимых. Элитные дома, яхты, самолёты, всё супер, люкс. Все эти депутаты, министры... Как все пели раньше: «Владеть землёй имеем право, Но паразиты – никогда!» Фиг получилось.

– Да, страну, конечно, грабят, – сказал Антон, – мало честного осталось. Такую страну угробили!

– Зато доктора наук размножаются, – вставил Гринберг.

Главное было держаться друг за друга. Их дружба была лучшим приобретением. То, что произошло у Антона с Магдой, не обсуждалось. Объяснить толком Антон не мог, не хотел. Просто – не получилось.

Арсений был уверен: если бы она не уехала, Антон уже отпал бы от неё, всё дело в разлуке, разлука раздувает чувства, разлука украсила их роман, по сути, обычный роман, таких у Антона хватало. Но тут, конечно, всё красиво: их отцы – враги, отцы воевали друг с другом, дети влюбились. Вопреки своим народам.

Арсений, человек деловой, считал, что Антон должен взять отпуск, слетать в Берлин, и, как говорил поэт: «Ты прилетишь, и ты найдёшь совсем не то, что ты оставил». Наверняка будут довольны.

Рувиму не нравилось, что она немка. Среди антисемитов немцы для него были самые неисправимые. Арсений допытывался, что за семья.

– Кто у неё отец, он воевал?

– Наверное.

– Ты с ним общался?

– Нет.

– Почему?

– Не пришлось.

– Напрасно не общался, всё же это много значит – родители, родословная.

– А ты свою Юлю оформлял в отделе кадров?

– Не смешно. Ты мне не безразличен, ты уверен, что её отец не нацист?

Антон улыбнулся:

– В этом уверен. Но это ничего не меняет. Я её люблю, этого достаточно.

Арсений внимательно разглядывал его:

– Что-то ты темнишь, парень.

Антон никому не мог толком объяснить, почему они с Магдой расстались. И ничего нельзя исправить, с этим надо примириться. Так и останется: он – тут, она – там. Постепенно всё зарастёт, ибо всё зарастает.

Новый год встречали у Гринбергов. Компания была небольшая. Все парами. Антон пригласил Лизу, но она давно договорилась со своим Серёжей. В самый канун он извинился, сообщил, что с родителями летит в Лондон, отца пригласила какая-то корпорация. Лиза расстроилась, никого видеть не желала, уехала к маме в Боровичи.

У Гринбергов было хорошо и немного грустно, как бывает в новогоднюю ночь. С каждым пришла печаль несбывшихся надежд. Поскольку Антон единственный был одинок, Юля пригласила свою подругу Азу. Шепнула Антону: «Не будь с ней букой, она умница». Аза старалась его накормить, усердно накладывала фаршированную рыбу, хвалила салаты, паштеты. Ничего купленного, всё домашнего приготовления. Сейчас это редкость, хозяйки не хотят возиться, купят готовое в магазинах, и ладно. Да и вообще больше зовут не домой, а в ресторан.

С этого у них завязался разговор. Аза поделилась своими наблюдениями. Как меняется уровень женщин в последние годы. Им, психоаналитикам, заказали об этом исследование. Цифры поражали Антона. Посещение выставок, театральных премьер, концертов – всюду женщин больше, чем мужчин. Они читают больше, их всё больше в туристских группах. Среди потребителей культуры процент мужчин быстро уменьшался. Почему?

Тут их прервало выступление президента.

Президент задушевно повторял то же самое, что и в прошлый год, говорил то, что до него говорили другие начальники, – те же пожелания, те же достижения, обещания, всё идёт наилучшим образом и будет ещё лучше.

– Так что никаких надежд, – подвёл итог Арсений.

Тем не менее все весело чокнулись, шумно поздравляли друг друга. Вручали подарки. Надежда не покидала их. Иначе им было бы не прожить.

Главным угощением был гусь с яблоками. Антон наслаждался чревоугодием. Коньяк был настоящий. Елка стояла настоящая. И торт, изготовленный женщинами, был настоящий. Сказочно украшенный. Кофе сварен по всем правилам.

«Достаточно иметь совсем немного друзей, когда они настоящие, – думал Антон. – Их можно любить, и терпеть, и доверять».

Кто-то вспомнил про сочельник, и, хотя до сочельника была ещё неделя, затеяли гадание. Вызвалась Аза. В Японии у отеля, где она жила, сидели хироманты. У них она выпросила, как гадать по ладони.

Все уселись кружком. Каждому она нащёптывала на ухо что-то конкретное – кто-то смеялся, кто-то удивлялся, иные погружались в задумчивость. Юля всплеснула руками, вскрикнула: «Спасибо!» Антона поразило, как она разом похорошела. Он никогда не мог понять, как они сошлись. Арсений был «жгучий красавец», спортсмен, отличный инженер с математическим даром, Юля – выше ростом на голову, добрейшая клуша, хохотушка, модница. «А как Адам выбирал Еву? – сказал Арсений. – Бог не предоставил ему выбора. Взято было ребро, очевидно, из нижних рёбер, из него приготовил Адаму супругу. Господь тоже не имел большого выбора. Брак, дорогой мой, создаётся из двух субъектов, система не просчитывается, смотри теорию самоорганизации».

– Спасибо, разъяснил, – сказал Антон. Он давно в этом убедился.

Друзей надо себе готовить терпеливо, уступая, прощая, помогая им оставаться другими. Другой имеет право быть другим – золотое правило.

Очередь дошла до Антона. Аза взяла его руку, но он сжал пальцы в кулак.

– Не стоит.

– Я никому не скажу.

– Мне скажете?

– Конечно.

– В том-то и дело, а я знать про себя не хочу. Судьбе не надо мешать.

Не выпуская его руки, она села рядом. К ним подошла Юля, принесла кофе.

– Женщину украшает не ум, а заботливость, – сказал Антон.

– Может, всё же культура, – сказала Аза.

– Главное женское преимущество – доброта, – настаивал Антон. – Доброта и сострадание.

Она посмотрела на него снисходительно. Что он знает о женщинах... Женщины – совершенно другое, чем мужчина, создание. Мужчине надо заполучить, женщине – обладать. В юности она мечтает о принце, в молодости – о муже. Семья, очаг, дети, дом, где она хозяйка. Заполучит всё это – и обнаруживает, что она ещё красива, у неё ещё всё сохранилось, а вот краски любви выцвели, истратилась на семью. Стала её жертвой. Есть разные заменители: фитнес, модные платья, макияж. Но есть нечто лучшее – любовник.

– У вас что-то не состоялось, – уверенно сказала Аза, – не хотите об этом слышать. Вы слишком привыкли к удачам.

Антон слушал её с интересом. Таким, значит, он кажется. Хочешь не хочешь, но, значит, кое-что проступает.

– Вы кто по специальности?

– Пифия.

– А ещё?

– Психоаналитик.

– Тогда, конечно, вам положено сразу ставить диагноз.

– По-вашему, конечно, диагноз примитивен?

– Не совсем. Но для аналитика сойдёт.

– Между прочим, я только что из Кембриджа. Меня пригласили участвовать в симпозиуме.

– Ого!

Антон не хотел переходить на серьёз. Он оглядел Азу. Жгуче-чёрные глаза под чёлкой, лицо уверенной в себе женщины.

– В таком декольте выступали? Надеюсь, успешно.

Наконец бледные губы её дрогнули в улыбке.

– Между прочим, меня похвалил Стивен Хокинг, он был на заседании.

Хокинг – это было любопытно. Хокинг поговорил с ней немного, минут пять. Он несколько раз был в России. Здороваясь, он протянул палец, один палец – указательный, он сидел в коляске, палец нельзя было пожимать, её предупредили, только тронуть. Палец – единственное, что двигалось в его парализованном теле. Он говорил с ней не открывая рта, голос звучал из коробки синтезатора. Голос был

не его, чёткий, доверительный, но не отстранённый, не голос суфлёра. Он сказал, что Россия ему интересна, он будет ещё посещать её.

Привыкнуть к его виду было нелегко, это был не человек, а кусочек, щепотка живого существа, неподвижного, с еле заметными признаками движения. Тёмносмуглая кожа, большие глаза, вся жизнь сжалась в них. Палец помогал через компьютер управлять коляской. Пальцем через компьютер он читал лекции, диктовал книги.

Она посетила его лекцию, посмотрела фильмы о нём, порасспросила студентов. Он был гордостью Кембриджа, такой же, как когда-то Резерфорд и Капица. В какой-то момент она обнаружила в нём тщеславие человека, который достиг невозможного. Он гордился тем, что его книги стали бестселлерами, издавались миллионными тиражами. Она не упрекала его. Он достиг высот и был доволен, это помогало ему двигаться дальше. Он объездил много стран и при всей своей немоги сумел побывать в невесомости в специальном для него подготовленном самолёте, мечтал побывать в космосе. Невероятная его подвижность и деятельность восхищали Азу.

Рассказ её заинтересовал гостей, и вскоре её и Антона окружили. Она заговорила громче. Она, не стесняясь, призналась, что влюбилась в него, почувствовав в нём мужчину. Он, оказывается, был женат дважды, имел троих детей – всё это казалось невероятным, но она видела этих детей, его вторую жену. Она осталась на несколько дней в Кембридже, ходила за его коляской. Да, внешность его не могла привлечь, привлекала громада его духа, могучий ум. Если бы ей предложили...

– Честное слово, – воскликнула она, – я бы пошла за него замуж!

Кто-то засмеялся. Рувим с Арсением переглянулись. Юля шепнула Антону: «Ну, что я тебе говорила?»

Её восхищение не трогало Антона. У него давно уже появились другие кумиры. Хокинг, конечно, уникал, судьба его удивительна, пример поучительный. Интереснее, однако, не то, чего он достиг, а как достиг. Вот это неизвестно. Так же, как непостижим Бетховен. Он оглох, начисто потерял слух и создал Девятую симфонию, гениальную, лучшее из его творений. Как это стало возможным! И сонаты, в том числе Лунную, и песни.

Этот дар человечество получило навсегда. Чёрные дыры наверняка явление существенное для понимания Вселенной. Поняли – жить от

этого не легче, не прибыло ни доброты, ни наслаждения? В астрофизике он дилетант. Все здесь тоже дилетанты, а как рады. Потому что Новый год – объяснил он себе. Хорошо, что рады. Улучив минуту, Рувим спросил Антона, как ему Аза?

– Умна.

– А ты не про Бетховена, лучше про неё.

– Можно, если вкратце, без продолжения.

Расходились под утро. На улицах былолюдно. Жгли фейерверки. Поздравляли, шутили. Все встречные казались хорошими, добрыми. Толстая девица в дублёнке преградила им дорогу, вручила Азе гвоздику.

– Разрешите поцеловать вашего мужа.

– Один раз, не больше, – сказала Аза.

Вышли к Неве. Там начинался рассвет. Розовые облака цеплялись за телебашню. Пьяный парень сидел на парапете и кричал:

– Уроните башню, вандалы!

– Сегодня всё можно, – строго сказал ему Антон.

У Летнего сада лепили снежную бабу, снега было мало, баба получалась снегурочкой. Аза взяла его за руку:

– Родители снабдили меня всем для счастья – здоровье дали, внешность, образование, квартиру. Будь только счастлива. Нет. Нет везения. Всё не то. Милые, воспитанные, а разговора нет. Ни общей мечты, ни общей печали. Скучно.

– У меня тоже бывало, – сказал Антон.

В тёмной половине неба ещё просвечивали звёзды.

Антону вспомнилось изречение Канта: «Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом: звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас».

Ему досталась эта тема на кандидатском экзамене. Поэзия этого изречения поразила его.

– Да, это красиво, – сказала Аза.

Помолчав, она добавила:

– Я догадываюсь, почему вы не дали мне ладонь, у вас кто-то есть.

– Возможно.

– И что-то не ладится.

Антон не ответил.

– Поэтому вам не хочется знать, что будет дальше.
– У вас и без руки получается.
– Другие варианты вас не интересуют? Она единственная во всём мире.
– Вероятно.
– Бедный вы, бедный.
– Это почему?
– Как знать, что мы упускаем. Уверяю вас, нет единственной, есть другие.

Антон подумал и сказал:

– Принимая решение, всегда что-то теряешь.
– Мы, по сути, незнакомы. Хотя мне много про вас рассказывала Юля. Юля

сватала вас, убеждала, что у нас с вами уровень интеллекта одного порядка.

– Я не измерял свой уровень.
– А я уже нажглась. Знаете, женщину заботит будущее. Очаг. Семья. У мужчины иное. Ему важнее сегодня, а нам завтра.
– Может быть... может быть.

Они перекидывались репликами, соревнуясь, точно щёлкали мячиком в пинг-понг.

Как много неустроенных женщин. Одни становятся матерями-одиночками. Хотят иметь ребёнка, потому что это главное назначение женщины, а если ещё есть бабушка – создаётся подобие семьи, где бабушка смягчает безотцовщину. Другие остаются просто одиночками, заводят любовников, отдаются работе, если ей можно отдаться, ходят на концерты, едут на экскурсии, у них проблема – чем наполнить свою жизнь. Большая часть даже не выясняет, что им было предназначено. Каждый человек приходит в мир для чего-то. Природа разумна, но не злокозненна. Есть гении, мало того что их Всевышний одарил, причём дар жалуется с детства, ещё без всяких заслуг, за что его получают – неизвестно, это лотерея.

Антон уже смирился с тем, что он ничем не лучше других, тех же Гринбергов, Балаянов, ничего выдающегося ему не дадено, хотя друзья ждали от него чего-то особенного. Его отличала любовь к поэзии, эту любовь он сохранял с юности, отличал интерес к людям, уверенность в

том, что каждый человек чем-то наделён. История с Хокингом вызвала мысль о том, что такого рода несчастье, как его болезнь, заставила Хокинга сосредоточиться на астрофизике, бросив все свои силы на решение проблем этой науки. Такое настойчивое сосредоточение помогает достигать многого, значительно больше, чем обычная жизнь обычного учёного. Несчастье Бетховена привело его к удивительным результатам, так же как и несчастье Хокинга сделало его крупнейшим астрофизиком. Конечно, в случае Хокинга это недоказуемо, но у Антона были ещё примеры. Гении не могут служить примером. Их жизнь может быть полнокровной, такой как у Пушкина, где было всё, и всё это было гармонично, счастливо сочеталось – и его романы, и страсть к путешествиям, к общению, к светской жизни, и то, как он много создал. А Марсель Пруст был прикован к постели. Никому из них Антон не завидовал, он утешал себя тем, что, может быть, природа наделила его легкомыслием или жадностью к разнообразию жизненных богатств.

– Мы пришли, – сказала Аза. – Подниметесь? Попьём чайку. Согреетесь. Неохота расставаться.

– Спасибо, – сказал Антон. – Вы устали, я тоже.

– Жаль. Тогда что же?

– Тогда до будущего Нового года.

– Желаю вам удачи.

Они обменялись виноватыми улыбками.

– Подождите, – сказала Аза. – Если вы пожалеете... позвоните, словом, не стесняйтесь. Может быть, я буду кстати.

– Обязательно, – пообещал Антон.

– Вы могли бы меня полюбить?

– Конечно, – ответил Антон. – Вы прелесть.

Гринберги уверяли его, что ничего лучше быть не может, что Аза по всем статьям устроит его. Юля не понимала Антона – на что он надеется? Немка не вернётся, и это правильно, из разноплеменных комбинаций ничего прочного никогда не получается. Нужно брать родное и своего сословия. Прощельга какая-нибудь обязательно окрутит его. Ещё хуже на хапугу попасть. Кругом прощельги, хапуги.

Юля не отрицала – сваха, да, сваха. Сватовство делало брак прочнее, они умели подбирать и внешность, и состояние, и статус.

Юля не щадила Антона – сколько можно тянуть, пора определиться. Ещё немного, и из него получится холостяк-потаскун. Могучая её грудь ходила ходуном. Отвергнуть такой шанс! Всё ещё надеяться на немку? Это же безнадёга. Россия её не прельщает, да и Антон тоже не сокровище. Эка невидаль.

– Воображаешь ты о себе, а чего достиг? Ничего! Ни лауреат, ни званий, ни бизнеса. Ты видишь в ней пирожное. Сколько вы были вместе – всего ничего. А жить вместе – это хлеб насущный, ржаной. Чем тебе Аза не подходит? Сформулируй.

– Не зову, не плачу, не тоскую.

– Вот и хорошо.

Она права: с Азой было бы удобно. Это тоже немало. И спокойно. И легко.

Придя с работы, он, как всегда, вытащил из ящика почту. Сразу наткнулся на заграничный конверт, твёрдый внутри. Хотел раскрыть, что-то удержало его. Дома, не раздеваясь, сел в кресло, рассмотрел марки. На них были изображены Бранденбургские ворота. Он ногтем поддел клапан конверта, медленно отлепил. То была рождественская открытка. Яркая, весёлая – младенец в яслях, над ним коровы, в дверях волхвы, стоит, не пуская их, Дева Мария. Антон любовался, осторожно перевернул открытку. Знакомый почерк, мелкий, бисерный: «Дорогой Антон! Приняли к изданию мой очерк о Шпеере. Почти без поправок. Я учла твои замечания. Надеюсь на успех. Как я счастлива. С удовольствием вспоминаю Питер, наши поездки. Благодарю тебя за всё. Поздравляю с Рождеством! Магда».

«С удовольствием». Вот её главные чувства – не скучает, не томится. Те слёзы, что были за стеклом, давно высохли. Главное теперь – предстоящий успех её работы. То, что казалось навсегда, благополучно закончилось как раз к Рождеству.

Однажды Магда спросила его: «Что самое главное в жизни человека?» Он ответил: «Найти своё призвание». – «Это почему?» – удивилась она. Наверное, она ожидала другого. Но он стал объяснять, что тот, кто нашёл себя, свои способности, профессию, именно свою, испытывает удовлетворение, не временное, а постоянное, работа ежедневно так или иначе поддерживает его, он осуществляет себя, заложенное в нём дарование всё полнее раскрывается.

– А любовь? – спросила Магда.

Наверняка она ожидала от него именно этого ответа. Как всё переменялось, и у него, и у неё. Допустим, это с устойчивостью у него получится – и что? Пройдёт несколько лет, появятся линии в миллионы вольт, его работа устареет. Всё устаревает, быстрее и быстрее. Чувства же человеческие – любовь, ревность, зависть, – они остаются теми же. Человек в этом смысле удивительно прочное устройство.

Вспомнил детство, ёлку, как готовили друг другу подарки, поздравления, как сочиняли стихи, чисто семейное, забытое – это ведь день рождения Христа. Тогда, в те годы, это ничего не значило для него, а сейчас он подумал, что там, в Европе, во всех странах отмечают Рождество, и оно важнее, чем Новый год. Магда поздравила его не с Новым годом, а с Рождеством.

За окном стемнело. Он вспомнил:

И день сгорел, как белая страница:

Немного дыма и немного пепла!

С какой сжатой точностью выражаются поэты. Они всегда старались помочь ему в такие минуты – чьи-то строки, как протянутые руки.

Он уже шёл, шлёпал по мокрому грязному снегу. Ничего не бывает навсегда, и этот мир тоже.

Он не заметил, как очутился у Сампсо-ниевского собора. Магде он понравился больше других. Постоял у памятника Петру. Народ шёл и шёл в церковь.

Впервые она была в православной церкви. Ей нравилось, что каждый здесь молился кому-то из святых, шептал своё, что женщины у входа в храм надевали косынки. Многие молились истово. Вера охватила и её.

В тот день с Магдой что-то произошло.

Антон бывал в церкви лишь на Пасху, там народ был иным: с куличами, с крашеными яйцами, святили, поздравляли, христосовались – был ритуал.

Две тысячи лет назад в этот день волхвы пришли поздравить Деву Марию с рождением сына. Наверное, это самый древний праздник.

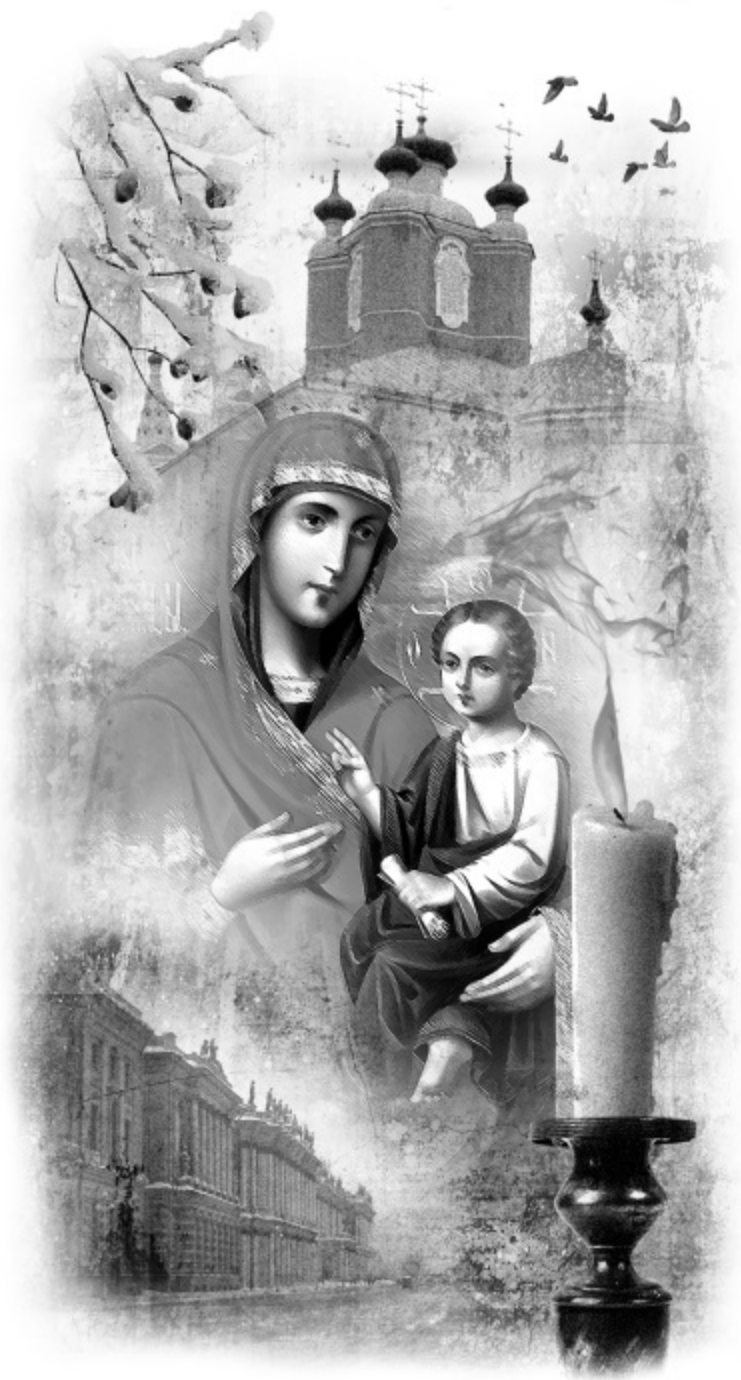
Никто не знал кругом,
Что жизнь ещё начнётся этой ночью.

Совсем другая жизнь. Об этом ведали только волхвы.

Сейчас в храме было по-другому. Зыбкое жёлтое пламя свечей оживляло иконостас, смягчало лики святых. Пел женский хор, с радостью своей женской причастности к таинству небывалого рождения. Родилась вера.

Золотой блеск образов, запахи ладана – всё славилло, ликовало. Лица молящихся излучали уверенность в том, что на небесах их слышат. Величие этого дня взволновало Антона. Вдоль стен тянулись скамьи. Антон нашёл свободное местечко, присел, чтобы лучше видеть лица, преображённые праздничной молитвой. Ощущение чуда рождения Христа заразило Антона. С этого ведь действительно всё началось, появилась иная жизнь. Он ощутил своё родство со всеми этими людьми.

Кажется, это была та самая икона, перед которой Магда плакала. Ничего в ней не было особенного. Старый крестьянин или отшельник стоял перед пашней, поросшей яркой зеленью озимых, как бы желая угадать, что получится. За его спиной стоял маленький белоснежный ангел. Ему ли молилась Магда? Ангел-хранитель. Её ангел? Их ангел?



Школьником Антон тяжело заболел. Что-то произошло с лёгкими. Мать кормила его салом, делала компресс из творога.

Выхаживала, и выходила. Антон слышал, как врач сказал матери: «Не иначе как ангел-хранитель вам помог». Потом Антон спросил мать, что такое ангел-хранитель.

Мать рассказала ему притчу, как ангел спросил человека: хочет ли тот увидеть свою жизнь? «Хочу», – сказал человек. Ангел поднял его над землёй. «Вот след твоего жизненного пути». Человек стал смотреть. Параллельно шли два следа. «Почему два?» – спросил человек. «Один – твой след, второй – мой, это я тебя сопровождал все годы». – «А почему здесь и здесь один след?» – спросил человек. «Потому что, когда тебе было совсем плохо, я нёс тебя на руках», – ответил ангел. «Ты же маленький», – сказал человек. «Для помощи нужна любовь, а не сила», – ответил ангел.

Антон присмотрелся к маленькому ангелу на иконе. Свой ангел-хранитель, большой или малый, есть у многих людей. Может, ангел-хранитель в детские годы сопровождал и Антона?

Он ещё раз присмотрелся к ангелу на иконе.

– Ты чей? Ты мой? Ты ангел Магды?

Ангел слегка кивнул.

Значит, его, Антона, ангел остался в детстве. Неверующим ангелы-хранители вряд ли положены. Ничего не поделаешь. Ему вспомнилось:

Не говори с тоской – их нет,
Но с благодарностью – были.

И у Магды, и у него осталась благодарность друг к другу от того, что между ними было. Её письмо ничего даже не в силах отменить.

– Спасибо, – сказал он ангелу.

Ангел кивнул и исчез. Растворился, и на иконе не осталось от него никакого следа.

Тогда, в аэропорту, он думал не о ней, а о себе. Он оставался одиноким, покинутым. У одиночества есть свои радости, говорил он, утешая себя.

Вспомнилось её мокрое от слёз лицо там, за стеклом в аэропорту. От слёз становится легче. Он никогда не плакал. Почему? Слёзы ведь для чего-то даны человеку.

Пел хор. Пели с чувством. Женские голоса расходились, сливались. У стен стояли скамейки. Антон нашёл свободное место, присел. Слушал хор, до него стало доходить величие этого дня. С него ведь всё началось.

И странным виденьем
грядущей поры
Вставало вдали всё пришедшее после...

Кто-то рядом спросил:

– Как вы сказали?

Антон повторил эти несколько строк.

Рядом сидел седенький старичок в полушубке. Мягкое его изношенное лицо сохраняло врождённую доброту. Антон пояснил, что это стихи Пастернака.

– Чувствую, что-то знакомое. Мне внучка читала, – сообщил старик.

Разговорились.

Внучка неподалёку молилась у какой-то иконы.

– Варя! – позвал старик.

Ей было лет пятнадцать. Чуть заметная грудь. Волосы под голубой косынкой, короткое пальтишко, кеды... Взглянула настороженно. Дед попросил Антона прочесть дальше.

Антон продолжил:

Все мысли веков,
все мечты, все миры...
Всё будущее...

Варя подхватила, теперь они читали вместе...

– Действительно, с его рождения начался другой мир, – сказал старик. – Христианский.

– Почитай сама, – попросил Антон. – Хорошо у тебя получается.

Она закинула голову:

Никто не знал кругом,
Что жизни счёт начнётся этой ночью...

Впервые Антон встречал Рождество в храме, слушал песнопения, эти голоса, радостные, праздничные. Все пришли сюда поздравить друг друга.

«Как все это сохранилось в целости – и звезда Вифлеема, и ясли, и вся поэзия того дня», – думал Антон.

Старика звали Георгий Андреевич, он бывший реставратор, много работал, восстанавливал дворцы в Пушкине. Признался, что считает

Рождество любимым своим праздником. Пасха для него «не так», Лев Николаевич Толстой тоже был в сомнениях насчёт воскрешения. А вот рождение Сына Божьего убедительно, недаром в него так верили и художники, и поэты. Они, творцы, наделены искрой Божьей, может, им виднее, чем нам, грешным. Событие это вдохновляло их во все века.

– Вы ведь верующий? – спросил он.

– И да и нет, – сказал Антон. – Сегодня – да. Рождение не только Христа, рождение каждого человека для меня чудо.

– Сейчас все больше приходят просить чего-нибудь. Жилья или насчёт детей, родных.

– Сегодня, думаю, пришли без корысти. Христос ещё младенец, он ещё обещание, – сказал Антон.

– У Бога возраста нет, – строго прервал его Георгий Андреевич.

– Христос для меня – человек, он ведь не сразу силу обрёл. Библию читали? Там вся его биография.

– Чтобы верить, не обязательно её читать. Хотя я люблю её перечитывать. Я просящих не осуждаю, я сам просителем был, знаете, как говорится:

Лёгкой жизни я просил у Бога,
Лёгкой смерти надо бы просить.

Только сейчас уразумел. Раньше у меня Бога не было, может, и был, да грохот жизни мешал его почувствовать. Я радуюсь за каждый сегодняшний день.

– Это как?

– То, что есть сейчас, – за то и спасибо.

– Вы так живёте? Сегодняшним днём?

– Завтра не в моём ведении.

Вернулась Варя, стояла, слушала – и ушами, и глазами. Улучив момент, переглянулась с дедом, слегка покраснев, предложила Антону зайти к ним в гости, мол, продолжить разговор, они тут рядом живут.

Антон, поблагодарив, отказался.

– У нас пирог будет, – сказала Варя. – С мясом и ещё с брусникой.

Она ещё сильнее покраснела.

– А я думаю, завтра – оно должно быть. Надо просто выбрать себе цель.

Антон согласно кивал:

– Цель, конечно, она впереди.

К ним подошёл дьякон, увесистый, в сером подряснике, стал выговаривать Георгию Андреевичу и Варе, наставляя на них палец. Антон нащупал в кармане открытку от Магды, она писала так, будто хотела вернуться в Питер. Наверно, так оно и есть. Не любит Россию и скучает по ней. Напрямую не пишет об этом, не хочет признаваться. Ему трудно любить Россию, а ей ещё труднее. Впервые он представил, в какой обстановке ненависти к России и к русским проходило её детство. А всё же выучила русский язык, прочла классиков. Про Антона, конечно, не говорила, скрывала от матери и от родных.

Ему стало душно, он ослабил галстук, стал расстёгивать рубашку и никак не мог расстегнуть верхнюю пуговицу.

Если бы они узнали, осудили бы её, никто бы не радовался её выбору.

Пуговица всё не расстёгивалась, хотелось рвануть её, наконец он высвободил воротник, стало легче.

Прощаясь, Антон задержал твёрдую сухую руку Георгия Андреевича.

– Выходит, вы от будущего отгородились, – сказал старик. – Завидую я такой независимости.

Антон смотрел им вслед. Действительно, хорошо отгородиться от будущего, но ещё лучше ему отгородиться от прошлого.

В Елисеевском магазине Антон лицом к лицу столкнулся с Азой.

– Вам-то что здесь надо? – спросила она.

– Продуктов надо. Кушать надо. Вы мне другое скажите: почему я обрадовался?

– Потому что встретили меня.

– Угадали.

– Я тоже рада.

Они оба засмеялись.

Аза заявила, что должна помочь ему. Именно должна. Выяснила, что ему нужны: макароны, конечно, овсянка, конечно, кофе, шпроты, тут есть хороший дешёвый чай, в овощном отделе купили огурцы, это необходимо, ибо огурцы – санитар желудка. Обязательно томатный сок и мёд. Его рюкзак быстро набухал. Её сумка тоже.

– Не стесняйтесь, – сказал Антон, – я на машине.

– Масло тут вологодское. Обязательно купите.

– Господи, чему я радовался, – сказал Антон, поднимая рюкзак, – это же всё надо съесть.

Она была в Доме радио, там их, психоаналитиков, записывали. Про совесть, предчувствия, сны.

Незаметно подъехали к её дому, очутились в её квартире. Уютная, две комнаты, увешанные картинами и плакатиками, написанными от руки:

«Лучше распрощаться раньше, чем тебя попросили остаться»

«Сегодня самый счастливый день моей жизни!»

«Счастьем было у рек без названия

Пить из старой заржавелой кружки

Чёрный чай, горячий и горький»

Аза позвала его на кухню делать драники. Натереть картошку, лепить, жарить. Он накрывал на стол, открыл бутылку настоящего портвейна, Аза привезла его из Португалии. Узнал, что она кандидат наук, что у неё есть сын, ему семь лет, живёт у бабушки в Гатчине.

Рассказывала о себе с удовольствием, у неё всё удачно, всё кстати. Это про то, что развелась, он ушёл к её подруге. Не поссорились, дружат.

– Мы в одном институте, он платит алименты, теперь и он стал лучше, а мне работается, как никогда.

– Так и будете жить.

– В смысле?

– Может, ещё раз замуж?

– Теперь труднее...

Чай был хорош, настоящий японский чёрный чай. Аза рассказывала про свою японскую поездку: там её привлекали церемонии в повседневной жизни. Женщина разговаривает по уличному телефону. Низко кланяется невидимому собеседнику. Крохотные садики насажены карликовыми клёнами, бузиной. Декоративные яблони. Всё по колено и ниже, большое дерево сажать нельзя, его тень помешает такому же крохотному садику соседа. Сильное впечатление на неё произвёл Сад камней, точнее, философия этого сада. Откуда бы ни разглядывать его, можно увидеть разбросанные на песчаной арене разные камни. Их насчитывается

четырнадцать. На самом деле их пятнадцать. Один всегда заслонён другими. Великолепная метафора непознаваемости мира. Всегда имеется ещё что-то неизвестное, невидимое и в природе, и в человеке, в событии.

Япония для неё была полна метафор.

– Они и в нашей жизни есть, но там они сокровенны, – сказала она. – Там я ощущала у людей внутренний мир с его законами и озарениями. Существование души.

Он никогда не думал об этом. Наверно, что-то вроде души есть. Недаром есть понятия: «душевный человек», «равнодушие», «добродушие». Но в виде чего она может существовать? Философия как наука была чужда ему. Но проблема, которая занимала Азу, была практичней: как выявить способности человека. Антон с юности хотел узнать, есть ли у него какой-нибудь талант. В школе учитель математики говорил, что есть способности к математике, а его тянуло к истории. Выявить призвание, своё назначение – проблема для каждого человека нужная, считал Антон.

– Вы думаете, коллекционирование – это всего лишь хобби? Нет, извините. Это, скорее, стремление самореализоваться. Через него можно многое узнать. О склонностях. О настойчивости. О систематике. Проникнуть в чужую душу трудно, всегда что-то важное ускользает.

Слушать её было интересно. Каких только коллекций она не навидалась. Коллекция пуговиц, вееров, обуви. Одни хотели украсить свою жизнь, другие – выделиться, третьи... четвёртые...

– Вы что-нибудь коллекционировали?

– Нет, времени не было.

– Чем-то ведь увлекались?

Увлечений было много: стихи, плавание, история, танцы. Он не собирался ей рассказывать, она обязательно спросила бы: «А женщины?» Было и такое, но ничего всерьёз, да и остальное быстро надоедало. Уже не появится. Так он и доживёт, не узнав, чем наградила его природа.

Разговор шёл лёгкий, беспорядочный.

Аза занималась значками советской эпохи. Сотни, а может, тысячи значков, никто не знал, сколько их было изготовлено. Из всего разнообразия Аза выбрала посвященные каким-то явлениям советской

довоенной жизни. Таких значков было тоже множество. «Друг радио», «ОСОАВИАХИМ», «МОПР», «ПО»... Каждый выпускался к чему-то. Каждый был свидетельством какого-то явления тех лет. Значок «Смычки города и деревни». Или значок с буквами «ОДН» – кажется, он означал «Общество Долой Неграмотность». Всё было актуально, всё работало. Он вспомнил пиджак отца с привинченными на отворотах металлическими значками. Они царапали лицо, когда отец обнимал его. Отец не был коллекционером.

Значки, по мнению Азы, были загадочной потребностью советского человека. Значки носили, выражая симпатию к общественным явлениям – развитию туризма, ликвидации неграмотности. Значок МОПРа приобретал тот, кто хотел поддержать международное движение революционеров. Значок туриста – развитие туризма. Так советский человек выражал свои гражданские чувства. Неоценимый материал для социального психолога.

Чего только люди не собирают. Марки, монеты, открытки – это всё обычные коллекции. Но куда интереснее были коллекции другого рода. Например – невероятные опечатки в газетах, выкрики на стадионах, пуговицы, обувь разных стран. Зачем? Среди причин Азу интересовала «для души». Проблема души существовала всегда – есть ли душа? Что это за субстанция? Понятие души необходимо?

Ему нравилась её горячность. Он никогда ничего не коллекционировал. Наверно, это удовольствие. Или страсть?

– Жаль, что я лишён этого увлечения, – сказал он.

– У вас есть наверняка другие увлечения.

– Ничего у меня нет. Предупреждаю вас. Не ищите.

– А я уже нашла. Я читала ваше интервью. Мне Гринберги дали.

– И что?

– А то, что вы вышли на важную проблему нашей жизни. У нас система не способствует предприимчивым людям осуществить себя. Более того, власть мешает, она коррумпирована, её вполне устраивает то, что есть, – нефть, уголь, металл. Этого достаточно. Хватает для покоя и сохранения кресла. Для этого лучше не покидать его. Их не трогает то, что страну покидает молодёжь, предприимчивая, образованная. Вы предлагаете бесплатный вечный дар природы – ветер, вода, солнце. Берите стройте ветряки, всякие гидро и гелио. В виде малых установок. Достаточных для инкубатора, птичника, для

станка, маслобойки, столярного дела. Вы защищаете не диссертацию. Вы защищаете свою идею, не требуя патента.

– Не новую, очевидную.

– Вы её защитник, её рыцарь. Вы бросили вызов.

– Слушал бы и слушал, – сказал он.

– Вы спросили, хочу ли замуж. Да, хочу. Но не так замуж, как хочу семью. Дети, бабушка, дедушка, в смысле – мои родители. Муж у меня был. Чудесный был месяц, когда он ухаживал. Затем месяц после свадьбы. Действительно медовый. А потом возня с квартирой, покупать стулья, шкаф, коврики. Ему нужен творог, а мне баранина. Ему нужна машина, а мне дача. Либо-либо. И пошло-поехало. Совпадение – это редкость. Уступки быстро истощили наше чувство. Нет, лучше всего, решила я, иметь друга. А то и двух.

Она посмеивалась над собой, Антон отвечал тем же. С ней было легко. Никаких обязательств. Дом, где тебе рады, куда всегда можно зайти поболтать, а то и за сочувствием. Иметь женщину, с которой интересно быть наедине, пойти в театр, в гости, просто гулять, взявшись за руки.

С этого вечера всё началось. Выставка Шагала, филармония, поездка в Выборг. Иногда она тихонько про себя напевала. У неё была музыкальная память. Потом он увидел, какая у неё высокая шея. Постепенно она становилась всё лучше.

Приехав из Москвы, главный инженер Генрих Иванович вызвал к себе Антона.

Кабинет у Главного был большой, уставленный кадками с пальмами и кактусами. Разговаривая, он любил ходить между ними, подходить к своему столу, садиться на краешек. Привычек было много, по ним угадывали его мнение, доволен он или недоволен. Ему всё прощалось. Отличный инженер, он, кроме знаний, обладал ещё редким чутьём. На ошибки в проектах, на слабости те неявные, что обнаруживаются много позже.

Усадив Антона, предложил попить чайку.

– Не обязательно, – сказал Антон.

– Если начальник предлагает – то обязательно.

Судя по всему, настроение у него было благодушное. Секретарша Таня почти сразу принесла, очевидно, приготовленный чай с пирожками, что давали не всем. Главный начал сразу и с середины:

– Представляешь, они своим ходом дошли – ветряки! Хотят наконец ставить. Зашагать в ногу с Европой. Догнать и перегнать! Не иначе.

– Поздравляю, – сказал Антон.

– Я тебя тоже, – сказал Главный и весело подмигнул, обещая нечто приятное.

Надо было спросить «с чем?», но Антон давно установил себе правило: с начальством побольше молчать, сами скажут.

– Будем готовить ветряки. Тебе предложат руководить. Мы договорились. Так что с тебя причитается. Небось осточертело тебе возиться с распреустройствами.

– Нет, почему же, – осторожно сказал Антон.

– Да вот думаю.

– Чего тут думать? Повезло тебе крупно, плясать надо.

Антон старательно жевал пирожок, слушал рассказ про новый проект. Где он вызревал, кто ему способствовал, Генрих Иванович мог лишь догадываться. Скорее всего, с ним была связана борьба за власть.

Она шла в министерстве вокруг новых заказов. Генрих Иванович не вмешивался, он выжидал, определился в последний момент, чтобы не рисковать судьбой своего КБ.

Опередил москвичей. Заказ был перспективный.

Не называя фамилий, Главный теперь выкладывал со вкусом некоторые подробности. Он не постеснялся использовать статью Антона, перепечатанную в финской газете, за которую ругал Антона. В борьбе все средства хороши.

Допив чай, Антон отодвинул чашку, вытерся салфеткой и сказал:

– Зачем мне это?

– Не понял, – сказал Главный.

– Спасибо вам за предложение, но я отказываюсь.

– Это почему?

– Вы извините, Генрих Иванович, не хочу ничего менять.

Главный уставился на него:

– Чего так? Я ж тебе повышение предлагаю.

– Знаете правило: «Не буди лихо, пока оно тихо»?

– Скажи толком, чего ты хочешь, выкладывай.

– Чего хочу? – Антон откинулся в кресле, уставился в потолок. – Хочу уходить в шесть вечера с работы и там всё оставлять – все

неприятности, все планы, все сроки. Хочу свободы. Вы знаете, что это такое?

– Если честно, я не знаю, что это такое. Не уверен, что она бывает вообще – свобода. Это ты раз мечтался. Нам не про свободу надо думать, а про дело, тебя же выдвинуть хотят. Сможешь сделать то, что хотел.

– У меня теперь другие планы.

– Это какие?

– Хочу заняться личной жизнью.

– В каком смысле?

– Ходить в филармонию, наслаждаться музыкой, кататься на лыжах. Поехать во Флоренцию. Вы были во Флоренции?

– Не пришлось.

– И я не был, но хочу во что бы то ни стало. Ещё хочу на яхте ходить.

– На пенсию выйдешь – вот и ходи. Чего это ты вдруг ни с того ни с сего? Что-то случилось? – Главный осмотрел его, как бы ища ответа: – Может, ты жениться надумал?

– Может, и жениться.

– Так это ж не помеха, даже наоборот. Зарплата в полтора раза выше, командировки по заграницам – опыта набираться.

Генрих Иванович походил по кабинету, взял со стола лупу, посмотрел через неё на Антона.

– Да, – сказал он, – это, конечно, причина, женитьбу до пенсии нельзя откладывать. И вообще, скажу тебе, ничего нельзя откладывать. Но кому поручить? Кто будет вкалывать – папа римский? На кого ты все перекладываешь? Свободы ему, суверенную жизнь, красиво жить за чужой счёт, прокукарекай он, будет наслаждаться, аристократ, твою мать! Нет, дорогуша, с эпикурейством у тебя не выйдет.

Главный вернулся к столу, уселся, сгорбился.

– Думаешь, я не понимаю тебя? Но и ты пойми, не повезло нам, – продолжал уже тише. – Ни народу нашему, ни стране не повезло: то война, то власть дурная, то просто невезуха. А как работали! На полную катушку. Всё, что наработали, – всё растратили. А жили как? Жили ведь ВО ИМЯ! У меня отец на Второй ГЭС в кочегарке. Хочешь, покажу?

Он пошёл к шкафу, погремел там чем-то, вытащил тарелку, тяжёлую суповую тарелку. По ободу тарелки было напечатано вместо рисунка: «УКРАДЕНО В СТОЛОВОЙ ВТОРОЙ ГЭС».

– Понимаешь? Тарелки воровали! Вот как жили.

Положил её на стол.

– Храню. Это себе на память, себе.

Говорил спокойно, будто сам с собой. Отчасти, конечно, прав.

– Отец не успел для себя, да и я тоже. Вот ты о Флоренции мечтаешь. А я мечтал фильм снять про своего внука – какой у него ум, как он рос... Всё откладывал, так и не получилось. Всё, мил человек, решает личность. Вот у нас осуждают культ личности, боролись с культом. Так ведь культ – это не портреты, не памятники. Культ – это личность, достойная культа. Если человека поднять, он может извлечь из себя личность, которая развернётся для него самого неожиданно. Вся история не народами движется, а личностями. Куда личность повернёт, какую идею создаст – сумеет этой идеей горы свернуть или нет... От этого всё и будет зависеть. Вот смотри: Гитлер испортил хороший, можно сказать, замечательный народ – немцев, прямо-таки испакостил, замарал их. А могло быть и по-другому. Другие примеры тоже можно привести. Вот Пётр Первый поднял Россию, развернул просвещением. Выправил. Ты получишь эту должность, эту тему, которой добивался, – и ты извлечёшь из себя столько хорошего, о чём и не мечтал. Это всё зависит то ли от должности, то ли от среды, то ли от случая. Капица поехал к Резерфорду – и там он расправил крылья. У нас стали утверждать, что всё решает масса, коллектив, народ, что это раньше учёный додумывался, а сейчас, мол, коллектив додумывается. Чушь собачья! Всё решает озарение – человека озаряет. Не может озарение посетить коллектив. Сперва эта честь достаётся личности, а затем распространяется, завоёвывает души и других. Откуда озарение приходит? Бог знает, – то ли от таланта, то ли искра проскакивает, то ли случай помогает. Да это, скажу тебе, не наше дело, это, как говорится, Божий промысел, это Его забота. Но упускать возможность – грех, она тоже ведь не всякому подвёртывается. Если ты не воспользуешься шансом, это будет нечестно перед твоими родителями, которые наградили тебя способностями, перед Судьбой, наконец, даже передо мной, поскольку я старался изо всех сил, да ладно...

Он замолчал, взглянул на часы:

– Извини, мне в Смольный. Опаздываю.

Встал.

– Нет, подожди. Вот я тебе скажу про себя. Ведь я тоже упустил... Было дело. Одну идею свою упустил я, с разрядниками, перехватили у меня. А почему? А потому, что в командировку уехал в Китай. Прельстился. – Он махнул рукой, как бы отбиваясь от воспоминаний.

У себя надел куртку, кепку. В зале уже никого не было, рабочий день кончился. Задержался у зеркала, посмотрел на себя. Он не любил зеркала, там всегда отражался другой, который разглядывал его, Антона, – что у него за выражение, что это он строит из себя.

Например, сейчас тот, в зеркале, был доволен, и Антон невольно улыбнулся ему.

Он спустился в вестибюль, прошёл в буфет. Буфет был уже закрыт. Он вернулся в холл, встал у барьера в раздевалку. В холле никого не было. Из глубины гардероба вышла тётя Зина, спросила:

– Ты чего ждёшь?

– Да вот опоздал, хотел чайку попить.

– А пойдём ко мне, угощу.

Он пошёл за ней в глубь гардероба, где была комнатка с кухней для гардеробщиц и водителей. Там сидели двое мужиков: один – в форме охранника, другой – водитель дежурной машины. Пили чай, стоял высокий электрический чайник, в вазочке – баранки. Водитель сказал:

– Милости просим.

Антон уселся. Было тепло. Тихо говорило радио. Ему налили стакан чаю.

– А водки нет? – спросил он.

Тётя Зина кивнула на мужчин.

– Нам нельзя, – сказал водитель. – И ему нельзя. – Он кивнул на охранника. – Пива хочешь?

– Пива – нет, это не то... Хотя... Ну, давай.

Водитель откуда-то вытащил бутылку, открыл зубами, налил в кружку, протянул Антону. Антон взял. Пиво пенилось, светлое, шипящее. Антон пил. Пиво было неплохое, с хорошей горечью. В самый раз.

Возвращение

*В*ОЗВРАЩЕНИЕ



Речь шла о поимке «языка». И дивизионная разведка охотилась за «языком», и полковая, и всё безрезультатно. Об этом толковали на КП у комбата Рогозина. И тут вдруг младший лейтенант Ипатов произнёс тихо, как бы про себя: «Надо попробовать». Комбат решил, что

ослышался, переспросил. Ипатов задумчиво посмотрел на него, повторил: «Надо попробовать». Естественно, что все засмеялись, потому что Ипатов никакого опыта не имел, не был он ни следопытом, ни сибирским охотником, вроде Поленова, а был техником-артиллеристом. Его дело было следить за прицелами, откатными приспособлениями и тому подобными штуками. К тому же он был типичным городским жителем, технологом-прибористом, во всяком случае, из гражданских. Все посмеялись и забыли. Однако Ипатов после этого разговора дня два просидел в окопах со стереотрубой. Никто не обращал на это внимания. Мало ли, может, техник стереотрубу проверяет, потому что стереотруба входит в его инвентарь. Это уже потом вспомнили, восстановили. Изучал участок у немецкой дороги. Там сложный рельеф был: немцы сидели на взгорье, на командных высотах, наши окопы тянулись по склонам и простреливались немцами на некоторых участках, у церкви, например, просто невыносимо. Особенно пока снега не навалило. Окопы были мелкие, земля промёрзла, укрыться трудно, к февралю полегче стало, из снега нарыли брустверов высоких, стали ходить в полный рост, выпрямившись. Какое было наслаждение ходить не сгибаясь!..

После очередного доклада комбату насчёт веретённого масла для противооткатных цилиндров Ипатов попросился пойти в разведку, вернее, в поиск, за «языком». С тем же деловым, даже меланхолическим видом, каким говорил про веретённое масло. Рогозин вздохнул, сказал, что так это не делается, нужно иметь план, всё продумать. В ответ Ипатов вынул карту, где всё было нарисовано, вычерчен весь путь до оврага и дальше до немца. Со стрелками, метрами, проставлены часы и минуты. Даже в разведотделе дивизии могли бы быть довольны такой работой, хотя и были там некоторые нарушения, Рогозин как кадровый офицер разбирался в этих тонкостях. Замысел Ипатова был прост: оказывается, в насыпи шоссейной была заложена труба, большая бетонная труба для сгона весенних вод. Сейчас она была завалена, забита снегом. Шла она сквозь насыпь и выходила на нейтралку, а уже дальше в полной безопасности пребывали немецкие блиндажи, кухни, КП и кто знает что ещё. Этой трубой Ипатов хотел воспользоваться, сквозь неё и утащить «языка». Он точно определил, как добраться до трубы, как отходить, имел ночные ориентиры, словом, всё было обдумано.

– А почему насчёт трубы уверен? – спросил Rogozin. – Как ты её вообще увидел?

– Я её вычислил, – сказал Ипатов, – как в том анекдоте. – И он слабо улыбнулся.

Rogozin впервые присмотрелся к нему. Это был невысокий, видно, и в мирное время сухонький, не такой уж молодой, всё же молодой, с лицом невыразительным, но приятным. И чем внимательнее смотришь, тем более приятным, серьёзным, задумчивым оно становилось.

«С кем он дружит? – подумал Rogozin. – С кем он в землянке?» Он хотел вспомнить какие-нибудь подробности об этом младшем лейтенанте и не мог. Это было странно, с каждой минутой становилось всё более странным, как мог он, Rogozin, до сих пор совершенно не замечать этого человека.

– То есть как это «вычислил»?

– Очень просто, – ответил Ипатов и вытащил карту местности с отметками, из которых явствовало, что в низине тут скапливаются у насыпи воды, должен быть какой-то спуск, чтобы полотно не подмыло. И обозначено было направление стока. – Очень просто, – сказал Ипатов, – стоит понять соображения строителей...

Теоретически у него получалось куда как просто. На самом же деле труба могла оказаться забитой чем угодно, заминированной, может быть, с той стороны что-то к ней пристроено... У Rogozina появлялось множество возражений.

– Всего не предусмотреть, – произнёс Ипатов. – Всё-таки это возможность... Другой-то нет. Шоссе у них пристреляно. Пулемётами.

Знаток! Не за своё дело брался, хорошо, если вернутся, хоть ни с чем, но вернутся, а если постреляют их, если подорвутся, тогда с Rogozina спросят: зачем техника посылал, как разрешил, за орденами погнались?

Но ничего этого Rogozin не сказал.

Он подумал, что может передать этот план полковым ребятам, поблагодарить Ипатова – и с концами.

Но этого пока он не озвучил.

– Ладно, – сказал он, – готовь ребят.

«Вычислил» – вот что поразило Rogozina. Может, и там придётся головой поработать.

– Ты кем работал на гражданке? – спросил Рогозин.

– В лаборатории.

– А кем?

– Да так, сотрудником... научным.

Ночью расчищали трубу. Вьюжило, к утру всё набело застелило, да и днём сыпало, сыпало, еле успевали траншеи расчищать. Ракеты освещали белую пелену, высвечивали вокруг себя голубоватый шар, свет почти не достигал земли. Рогозин не заметил, как заснул. Он сидел за столом в углу, обитом ковровой дорожкой, чтоб не холодило от мёрзлой стены. Ждал, когда вернётся ипатовская группа, и заснул.

Разбудил его старший лейтенант Осадчий, сообщил, что группа Ипатова вернулась в расположение второй роты, что привели «языка». Тяжело ранен Поленов, в спину, задет позвоночник, немец тоже ранен, остальные в порядке, их напоили, накормили, уложили отдыхать. Рогозин повернулся было к связисту, но лейтенант Осадчий перехватил его – командиру полка доложено.

– Надо было разбудить меня, – сказал Рогозин.

– Вот я и бужу. – И Осадчий нагло усмехнулся. – Уж больно сладко вы спали, товарищ капитан.

Рогозин представил себе, как командир полка изумился, обрадовался, как Осадчий орал своим голосом и чеканил: «Так точно!», «Служу Советскому Союзу!», как с усмешечкой пояснил, что комбат крепко спит...

Радость была попорчена, но всё же Рогозин добрался до второй роты и увидел немца, да ещё офицера, рослого, в натуральном мундире, сытую физиономию. Рогозин хлопнул его по плечу от удовольствия и удивился своему радостному чувству к этому дрожащему от холода и страха «языку». У немца зуб на зуб не попадал, его всего трясло, может, и от боли. Это его Пантелеев саданул прикладом, когда брали, да ещё ножом пригрозил.

Он всхлипывал, не мог поднять головы. Комроты Татарчук скомандовал ему: «Встать!» – но немец дёрнулся ещё сильнее и стиснул голову руками.

– Боюсь, как бы он того... не тронулся, – сказал комроты Татарчук.

– Дай ему водки.

– Вот ещё, переводить добро на фашиста, – буркнул старшина, – всё равно его...

– Не рассуждай, – оборвал его Татарчук.

Он подошёл, взял своей огромной ручищей немца за волосы и поднял голову, протянул ему стакан:

– Шнапс, шнапс, тринькай!

Немец выпил и затих.

Все молча осматривали его.

– Ничего, очухается, перший класс будет «язык», – сказал Татарчук.

Рогозина позвали к телефону. Звонил второй, приказали из дивизии, сам комдив – направить фрица в штаб, пока не рассвело, у Шушар будет ждать машина, эмка, главное – добраться до КП без обстрела. Рогозин спросил, а будет ли машина Поленова отвезти в госпиталь. На что начштаба холодно сказал, что об этом договариваться надо с медиками.

– Это я понимаю, – кивнул Рогозин.

– И я понимаю твои намёки. Да только ты не сравнивай.

– Вот именно, – сказал Рогозин. – И сравнивать невозможно.

– Да ты что, в самом деле, – возмутился начальник штаба, – ты чего себе праздник портишь.

В другое время Рогозин призадумался бы над словами первого, но тут надо было отправлять «языка», созваниваться с соседом, снаряжать провожатых. Пришлось будить Ипатова. Хоть младший лейтенант только заснул и был выпивши, им всем выдали на радостях чуть не по триста грамм. Его долго не могли растолкать, сам Рогозин пришёл поторопить. Ипатов, не открывая глаз, выругался, брыкнул ногой, замотанной в байковую портянку. Он спал раздевшись, укрытый двумя шинелями, как позволяли спать себе только разведчики, и то после возвращения. Им полагалось по крайней мере часов пять полного покоя, это было святое правило, и Осадчий предложил капитану послать кого-нибудь другого.

Рогозин осмотрел Осадчего сверху донизу, от его яловых сапог до шапки-ушанки, которая была не бобриковая, как у всех, а заячья. Лейтенант Осадчий был единственный в роте кадровик, и это чувствовалось во всём. Рогозин и сам не мог понять, за что он не любил этого лейтенанта, почему ему казалось, что, когда его, Рогозина, убьют, командовать батальоном будет Осадчий.

Пошёл будить Ипатова. Ипатов спал, можно сказать, изо всех сил. Rogozin долго тряс его.

– Узурпатор, – не открывая глаз, бормотал Ипатов.

При вялом свете коптилки видно было, как блаженная улыбка открыла его ярко-белые зубы. Какой-то сон виделся ему, весёлый, нездешний. Он спал поджав ноги, посапывая, совсем не по-фронтовому, без ремня, тоненький, малорослый, порозовевший от сна и выпитой водки. Грех было будить его. По всем статьям лучше было послать Осадчего. Откровенно говоря, Rogozin беспокоился, как бы там, в штабе, не приписали всех заслуг себе, поскольку «язык» поступит от них. Поди потом доказывай. В кои, можно сказать, веки... При Осадчем, конечно, можно не беспокоиться, не то что не упустит, он и себя подать сумеет по первому классу.

Ипатова отодвинут, так что Осадчего посылать при данных обстоятельствах не стоит.

– Ладно... – сказал Rogozin.

В это время Ипатов открыл глаза. Сон ещё клубился в глазах Ипатова, солнечносиний сон, и Rogozin словно бы заглянул в его тёплую синь. Собственно, это всё и решило, напомнив Rogozину другие обстоятельства, другие соображения.

– Ладно, приводи его в чувство, и побыстрее, – приказал Rogozin.

Потом он зашёл в соседнюю землянку, где немцу по его указанию натягивали нашу ушанку. Всё равно было видно на его круглой морде с бело-розовой кожей, намытой шеей, что это не нашего фронта морда.

У немца была голова разбита от удара прикладом, перевязали его за это время по всем правилам, бинтов не пожалели. Три коптилки для света зажгли. Ничего для него не жалели. При виде Rogozина немец выпрямился. Rogozin разрешающе махнул рукой. Он знал, что и в штабе полка немца будут поить, кормить, обхаживать, поскольку «язык» дорого стоит, особенно сейчас, перед наступлением. И так будет до тех пор, пока мы не прорвём блокаду, тогда пленных станут считать на сотни, а то и тысячи, как было под Москвой.

Rogozin воевал с первого месяца, а немца, да ещё офицера, вот так, вблизи видел третьего. Он смотрел на него, как и солдаты, что были в землянке, с желанием понять, что же такое все эти фрицы, люди они или какие-то придурки недоразвитые. Rogozin знал, что из них течёт кровь, они кричат и умирают, как и наши солдаты, что они мёрзнут,

ходят в сортир, ругаются, но при всём этом никакого арийского превосходства и не арийского не было. И вот этот немец, наряженный в нашу подпалённую, списанную шинель, не становился от этого понятнее. Тем не менее Rogozin похлопал его по плечу и довольно подмигнул: «Гут?» Это был их немец, их «язык», их пленный, которого они раздобыли прямо-таки чудом, дуриком, «язык», за которым охотились уже недели две опытные разведчики, вплоть до армейских, и тут, можно сказать, самодеятельность, его хлопцы сработали, его батальонные зацапали.

Он лично проводил Ипатова с двумя бойцами и «языком» по снежной траншее до участка второй роты, самого близкого к шоссе. Задержал младшего лейтенанта, снова повторил ему, чтобы от немца ни на шаг вплоть до штаба, что бы там ни приказывали, а лично сдать в разведотдел, хорошо бы под расписку.

— И можешь прокантоваться в городе сутки. Даю увольнительную, — сунул ему в карман справку и ещё остаток шоколадной плитки, которую хранил на всякий случай уже второй месяц. Хотел вроде как наградить, поторжественнее, но кусок этот, когда Rogozin вытащил его, показался слишком маловесным. Он был завернут в фольгу, затем в голубенькую обёртку, затем ещё в плотную бумагу, не годную для курева, и всё равно был небольшим. Поэтому Rogozin молча сунул его вместе с увольнительной в карман Ипатову.

Через час рассвело. Мгла стекала в овраги, заснеженные, поросшие кустами. Край белесого неба, давно уже лишённого солнца, наливался серебристо-зимним светом. Стали видны нарытые брустверы немецких окопов, знакомые до последнего колышка, разбитые ограждения, да ещё спирали Бруно, белые от наледи, и дальний лес у Красного Села. Торчал обломок фабричной трубы, высоковольтные опоры, весь пейзаж, с ориентирами и секторами обстрелов, просмотренный Rogozinym до каждого метра. Но что-то новое было в этой снежной тишине. Косой утренний свет проявил цепочки следов на нейтральной полосе. Немцам сверху, с пригорков и насыпи, было видно, наверное, особенно хорошо, для наших тоже эти тёмно-синие отпечатки проступали всё чётче. Rogozin разглядывал их в стереотрубу, и вся ночная история открывалась ему в подробности. Как отходили, скатывались с насыпи, вели раненого Поленова, как лежали и снова шли друг за другом, проваливаясь по пояс. С вечера был

снегопад, шёл он всю ночь. Но как выходить, так он прекратился, и теперь немцы молча разглядывали, расшифровывали ночное происшествие. Может, они толком и не знали, что случилось ночью, теперь хватились своего лейтенанта. Притом, судя по следам, можно было подумать, что целая группа просто пришла сюда, к Rogozinu. Потому что следы туда, к немцам, были замечены. Взяли «языка» дуриком, как выразился Ипатов. Сидел фриц в нужнике, сколоченном поодаль, издавал звуки, тут его и оглушили. Рассказал Ипатов, лишь как тащили сквозь трубу, и, не досказав, завалился на нары спать.



В дорогу немцу завязали руки, так, на всякий случай, здоровенный был. Рогозин отправился к связистам докладывать в полк, что отправляет «языка». Начштаба поздравил его, сказал, что сообщит комдиву, и просил Рогозина не отходить от аппарата.

Совещались там, уточняли, докладывали наверх, наконец позвонили: «Доставить немедленно, прямо в штаб дивизии». Рогозин

попросил отложить до ночи, потому что уже рассветает и немцы просто пройти не дадут. Полковник и сам понимал. Рогозина авансом обругал, стал докладывать выше, согласовывали, пока солнце не взошло, заискрило всю нейтралку так, что и думать не могли высунуться. Решили отложить переправу до темноты. Немца накормили из НЗ, Рогозин попробовал его расспросить. Ничего не получилось. Тогда Журавлёв привёл Ипатов. Раз имеет высшее образование, пусть разбирается со своим фрицем. Ипатов после всех расспросов понял не много, мешал диалект. Выяснил, что немца звать Густав, что воевал он в Африке, в войсках Роммеля, здесь под Ленинградом оказался, а вот почему, Ипатов понять не мог. Спросил он Густава что-то насчёт Гитлера, на это Густав поморщился, сказал, что Гитлер «найн», Роммель «гут, зер гут!», и восторженно поднял руку, задрал подбородок.

Конвоировать немца Рогозин назначил Ипатова и сержанта Пантелеева. Рогозин проводил их до участка второй роты. Она была ближе всего к оврагу, который тянулся до насыпи. Встретил их Журавлёв, ком-роты. Сказал, что у немцев какая-то возня, ясно, что обнаружили пропажу этого Густава, понимают, что его будут переправлять в город, в штаб, не хотят допустить, что-то готовят. Видно, этот Густав шишка. Как быть? Откладывать на завтра, возвращаться назад – плохая примета, Рогозин на фронте стал верить в приметы, да и снова согласовывать с начальством обрыдло. Не разрешат они отсрочку, дело зашло уже далеко.

Тем временем на Густава напялили старенькую шинель, чтобы по городу на него не кидались.

– Только мне лучше бы не с винтовкой, – сказал Ипатов, – мне бы ловчее с пистолетом.

Это было разумно. Рогозин отдал ему свой.

– Вы не беспокойтесь, товарищ капитан, – сказал Ипатов, – я ему втолковывал, что вся нейтралка заминирована, надо аккуратно идти за мной, след в след, кажется, он понял. У нас не Африка. Так что ему деваться некуда.

Ипатов протёр глаза, изгоняя остатки сна, улыбнулся больше себе, чем Рогозину.

В новом задании для него было что-то из мальчишеской его жизни.

Мгла стекала в распадни, поросшие кустами. Скрылись брустверы немецких окопов, ограждения, покрытые наледью, дальний лес, весь пейзаж с привязанными к нему ориентирами, секторами обстрелов, всё стояло во тьме. Рогозин и Журавлёв спрятали бинокли, ждали молча.

Слышен был лишь привычный треск взметнувшихся ракет. Вдруг вспыхнул раструб света, немцы включили прожектор, свет медленно полз, ощупывая каждый бугор, еловый молодняк. Вокруг зачастили пулемётные очереди, завывали мины. Мины неслись над головой Рогозина, шквальный пулемётный огонь шёл сбоку, из выступа немецких траншей. Обстрел продолжался минут десять, а то и больше. Наступила тишина, выжидающая, без ракет. Присматривались и там и тут.

– В трубу полезли? – вопросительно сказал Журавлёв.

Ещё немного полежали, и он предложил спуститься в землянку погреться. Рогозин отмахнулся. Если всё обойдётся, думал Рогозин, батальон могут отвести на неделю в город или хотя бы во второй эшелон. Они завшивели, запаршивели, от батальона осталось всего ничего.

Ждать дальше не было смысла, но Рогозин почему-то не уходил. Полулежа на бруствере, думал про то, как этот немец покривился, видно, фюрер ихний для него уже не тот, скисает, но блокаду они держат крепко. Впрочем, неизвестно, кто кого держит, мысль эта его обрадовала. Немец тоже вынужден тут стынуть, Ленинград не даёт им никуда...

Он не додумал, потому что с бруствера к ним сползли немец с Ипатовым. Лейтенант лежал на шинели. Что-то он хотел сказать, вместо этого застонал.

Спустя полчаса Ипатов уже лежал в санчасти. Нога в колене у него была раздроблена, медсестра сменила окровавленный бинт, наложила шину, сделала укол.

– Может, обойдётся, – приговаривала она. – Лишь бы не было гангрены. Может, обойдётся, если сразу в госпиталь.

Расспросить немца Рогозин не мог по случаю незнания языка. Ипатова не расспрашивал, лейтенант лежал бледный, закрыв глаза, иногда крупно вздрагивал, тихо стонал. Немец что-то старался объяснить, говорил виновато. Пантелееву ничего не добавить, он отставал, прикрывая их отход.

Ипатов открыл глаза: видать, от укола ему стало легче. Сестра обмыла ему лицо, руки, Журавлёв помог снять гимнастёрку, всё было в запёкшейся крови, трудно представить, как его немец тащил на шинели в трубе.

– Я думал, он к своим уйдёт, – сказал Ипатов. – Я его не держал. Товарищ капитан, это он добровольно.

– Надо доложить, – напомнил Журавлёв.

Рогозин позвонил Осадчему, пусть доложит в штаб.

– Невероятно, сам вернулся? Это почему? – спросил Осадчий. – Не верю.

Ипатов пояснил, что Густава понимал с трудом, много незнакомых слов, ясно было одно: боялся, если пойдёт к своим, будут судить, попадёт в гестапо.

– А что к нам вернётся, не боялся?

– Товарищ капитан, я его не агитировал. Может, ему у нас понравилось?

– В раю побывал? Ну и ну, ты, главное, не волнуйся, ему, конечно, твоё спасение зачтут, а тебе надо выздоравливать, поскольку ты – вещественное доказательство.

Докладывая по телефону командиру полка, Рогозин повторил слова Ипатова – добровольно перешёл, вытащил офицера, совершил подвиг.

– Остынь, – сказал полковник. – Не до этого.

Рогозин предложил, чтобы не рисковать, пусть из разведотдела проведут разговор с немцем здесь, в батальоне. Не стоит тащить его в город, рискованно. Надо, чтобы артиллеристы в случае прожектора шандарахнули к такой матери.

Полковник думал, не отключался.

– Как ведёт себя?

– Вроде с достоинством, – сказал Рогозин, набивая немцу цену.

– От Роммеля... Может, имеет поручение?

– Похоже, – согласился Рогозин.

– И думать не моги допрашивать у тебя. Если гангрена... Ещё загноётся. Мне его приказано доставить аж комдиву. Сам командарм хотел прояснить такое явление, так что снаряжай немедленно. Ясно?

Рогозин распорядился подготовить эвакуацию Ипатова в тыл, в госпиталь. Отправился на КП, оттуда стал докладывать начальнику штаба. Вскоре ему позвонил командир полка.

– Откуда у них прожектор?

– Они ж тут уже полгода стоят, – сказал Рогозин. – Иногда включают.

И опять стал объяснять, как всё было.

– Как это он вернулся? Почему?

Рогозин не мог ничего объяснить. Осадчий стоял рядом, слушал.

– Надо прежде всего переправить в разведотдел, а что, если... – сказал полковник. – Подожди, помолчи.

Рогозин помолчал.

– Давай прямо к комдиву. Там ждут.

– Уже светает, – сказал Рогозин. – Сейчас не успеть. Немцы думают, что им удалось уничтожить ихнего Густава и его конвой. Надо подождать.

Ждать полковник не разрешил, решили переправить немца с соседнего участка, с первой роты. Там же и лейтенанта Ипатова.

– И вот что, дело ответственное, сопровождай сам, в крайнем случае пошли Осадчего.

Из соседнего участка дорога в город выходила прямо на Рогатку, что было куда безопаснее. Оттуда часто доставляли в рогозинскую роту боепитание и просто питание – «супокашу».

– Давайте, товарищ капитан, я отвезу их, – предложил Осадчий.

Рогозин посмотрел, ловя его взгляд, понимающе усмехнулся:

– Нет уж, я сам.

Когда он пришёл в санчасть, Густав сидел у лежащего Ипатова, держал его руку. Рогозин пояснил, что вечером их обоих эвакуируют по ходу сообщения, затем через развалины церкви в первую роту, а ночью в Питер, там будет ждать машина. Машину подошлют для немца по приказу комдива, но Рогозин сказал, что и для лейтенанта, хотел подбодрить Ипатова. Выглядел Ипатов плохо.

– Ты потерпи ещё немного, – попросил Рогозин, сел рядом. – Ты можешь спросить Густава, почему он не вернулся к своим?

Ипатов спросил, медленно выговаривая каждое слово. Они слушали, как Густав быстро-быстро стал объяснять.

– Давай медленней, – сказал Рогозин.

Он думал сам понять хоть немного.

– К нам было ближе, – перевёл Ипатов.

– Почему он тебя не оставил? Шёл бы к своим сам.

Густав что-то ответил, но Ипатов помотал головой и повторил свой вопрос. Это Rogozin понял.

– Они могли его подстрелить, – перевёл Ипатов. – А вы бы, товарищ капитан, приказали бы стрелять в своего?

Rogozin подумал, сказал нерешительно:

– Если вдогонку... в перебежчика.

Вдруг Густав сам стал объяснять, обращаясь к Rogozinu.

– Переводи, – попросил Rogozin, – всё переводи.

– Он сказал, что, может, я спас ему жизнь, потому что я не кричал от боли, они бы нас сразу засекли, перебили, сказал, что я вёл себя как офицер и он тоже как офицер.

– Ты ему веришь?

– Очень уж благородно, он же фашист.

– С тобой он был человек. Он же вернулся. Жизнь тебе спас. Почему мы удивляемся? – спросил Ипатова и себя тоже.

– Возьмите пистолет, – напомнил Ипатов.

Пора было в дорогу. Ипатова уложили на носилки. Опять позвонил полковник, опять допытывался, не появилась ли у Rogozina идея какую-нибудь версию предложить комдиву.

– Это в твоих интересах. Чего этот чудик вернулся? Мы так и не дознались.

– У меня нет точных объяснений.

– Не признаётся?

– Вроде как из-за раненого Ипатова.

– Не верю. Что-то темнит. А?

– Жаль, если так, – вырвалось у Rogozina.

– Вы его не прижали. Допрашивать, конечно, не твоё дело. Ты лучше скажи: вы его обыскали?

– Нет. У него ни кобуры, ни планшета.

И Rogozin опять должен был повторять, как всё было, как отличился Ипатов и как ему не повезло.

Полковник прервал его, но Rogozin всё же успел сказать, что отправит заодно в госпиталь и лейтенанта.

– Кончай, а то светать начнёт. Ладно, лейтенанта отправляй. Сопровождать сам – и прямо к комдиву. Я подъеду.

Rogozin всё исполнил лучшим образом, только вот на допросе Густава присутствовать не стал. Отпросился, ему надо было отвезти

лейтенанта в госпиталь, добиться, чтобы немедленно занялись им, очень этот Ипатов был плох. Немец, рискуя, спасал Ипатова, Рогозину полагалось тем более, чувство вины появилось самовольно. Ему и раньше нравился Ипатов, а теперь было и жалко его, и обидно.

Пришлось пройти к главному врачу госпиталя, просить заняться Ипатовым вне очереди. Подействовала только история ранения. Она поразила и главврача, и хирурга. Ипатова сразу повезли на операцию. Рогозин сел в коридоре, ему принесли кружку чаю. Он расстегнул шинель, вынул портсигар, но курить не стал. Было бы несправедливо, если после всего, что было, не удалось бы Ипатова спасти. Здесь, на фронте, у Рогозина появилось ощущение Судьбы, которой наделён он и каждый из его солдат. Она существует где-то за пределами пространства. С Ипатовым судьба должна обойтись хорошо. Возможно, и с Густавом, подумал он, но как-то нерешительно. У Судьбы, наверное, свои понятия справедливости.

В операционную прошёл главный врач. Вышли они оба. Операция прошла хорошо, все осколки извлекли, как сложится дальше, неизвестно, организм слишком слаб, угроза гангрены остаётся.

В реанимацию Рогозина не пустили, после наркоза лейтенант должен спать.

До КП Рогозин шёл пешком. По набережной Мойки, свернул на Садовую. Снегопад кончился. Местами от прежних заносов улица превращалась в тропу между сугробов. Луны не было. Из подворотен слабо светили синие маскировочные лампочки. Дома стояли угрюмо, нигде, ни в одном окне не горел свет. Чёрные каменные глыбы в ночи безлюдных улиц. Пахло гарью. У Сенной площади догорал разбомблённый дом. Пожарище ещё дымилось. Рогозин погрелся у тёплой стены. Светя фонариками, остановились патрульные, проверили у него документы. Осмотрели его.

– Ждёте кого? – спросил старший. Он был в морской форме. Спросил, нет ли закурить. Он снял рукавицы. Тоже хотел погреться. Они, он и два солдата, взяли по папиросе. Закурили. И Рогозин закурил.

– Когда всё это кончится? – спросил моряк.

Не «чем кончится?», а «когда?» – будто собирался дожить до прорыва блокады. А вот Рогозин не знал, доживёт ли. Уже половина батальона его ушла из жизни, не узнав, что будет с городом, да и со

страной. Всегда мы уходим, не дожив, не досмотрев, не доделав. Вот и он, Рогозин, наверно, уйдёт, не добравшись до Победы.

Он выбрался из города к рассвету. Так трудно было одолеть эти три километра. На посту обрадовались его возвращению, проводили до землянки. Остап, его ординарец, растопил буржуйку, поставил на огонь чайник, сковородку с консервами. Принёс ледяной воды сполоснуть руки, положил на столик пайку хлеба, кусочек сахара, всё это молча, ловко, не в пример Рогозину, который долго раздевался, расстёгивался. Он теперь всё делал медленно, все в батальоне двигались не так, как раньше, сказывались скудный паёк, зима.

Остап присел напротив него, ждал, наконец спросил:

– Хотите лечь?

– Не то слово, – сказал Рогозин.

Он всё потягивался, разминая тело, свободное от полушубка, ремней.

В землянке прибывало тепло, привычное тепло с дымком, запахами овчины, портянок, смолы от сосновых накатов, да ещё стойкая вонь давно не мытых людей.

– Ну как? – спросил Остап.

Рогозин открыл глаза, долго смотрел на него, возвращаясь откуда-то, где не было войны, смертей, голодухи, трупов на улицах.

– Хорошо, – сказал он. – Теперь всех в баню отвезут, будет вошебойка, валенки обещали выдать, мин прибавят, такие вот пироги.